КОНСТАНТИН
КЛУГЕ

СОЛЬ ЗЕМЛИ

C. Klode

Он пишет Париж,
он, знающий столько стран.
Именно в Париже он находит
ту красоту, которая ему
необходима.

Мишлин Сандрель

Его негромкому, спокойному искусству мы обязаны этой серией парижских картин, которая впечатляет и чистотой рисунка и уверенностью, искусностью композиции.

"Круа"

КОНСТАНТИН
КЛУГЕ

СОЛЬ ЗЕМЛИ

KLUGE

КОНСТАНТИН КЛУГЕ

СОЛЬ ЗЕМЛИ

*Записки
русского художника,
выросшего в Китае,
окончившего Парижскую академию искусств,
работавшего в Шанхае, Гонконге,
Чикаго, Нью-Йорке и Париже,
история его творческого пути
и философских исканий*

*Москва * Искусство *
1992*

ББК 85.103(3)
К 51

К $\frac{4903010000-092}{025(01)-92}$ 148-92

ISBN 5-210-02155-6

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие - 6
В России - 8
В Маньчжурии - 21
В Шанхае - 34
Во Франции - 47
В Эльзасе - 57
Таня - 61
Лето на юге - 66
Возвращение в Шанхай - 70
Война в Европе - 76
Война на Востоке - 84
Тейяр де Шарден - 90
Конец войны - 103
Гонконг - 115
Депрессия - 129
Циклотимия - 144
Варвара - 154
В Париже - 159
Мария - 163
Юрий Герман - 178
Пирушка - 185
Пастеровский музей - 191
Рак - 194
Эпилог - 206

ПРЕДИСЛОВИЕ

Читатель моей биографии вправе обратить внимание на множество удивительных «случайностей», «совпадений», имевших, однако, решающее влияние на мою жизнь, как и на жизнь моих родителей.

Этих «совпадений» было так много, что мне трудно не видеть в них участия всемогущей Судьбы.

Что она такое? Кем и чем предопределена? Никому пока не известно. Делать даже самые гипотетические предположения на эту тему я не рискую. Но я уверен, что найдутся люди, которые разберутся в этой области, ибо «нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано».

Среди этих удивительных событий особенно важное значение имело то, как я, художник и архитектор, нисколько не искушенный в размышлениях о религии, в 50-х годах был внезапно вовлечен в изучение Нового Завета. Здесь снова решающую роль сыграла «случайность» — моя болезнь, циклотимия, при которой чередуются периоды необычайной эйфории и тяжелой депрессии. Так длилось около трех лет, пока меня не вылечили. Но в те месяцы, когда мой мозг подвергался сверхчеловеческому напряжению, постоянно требуя новой духовной пищи, я с головой погрузился в учение Христа, а также во все то, что люди напридумали после его смерти. Я понял, что, удаляя нас от «света истины», догматики и мистификаторы лишают людей драгоценных моральных основ.

Не заболей я тогда, мне бы и в голову не пришло заняться подобными размышлениями. Остается только благодарить Судьбу за то, что она наградила меня этой нелегкой болезнью. Как не вспомнить в данной связи притчу о жемчужине, ради обладания которой можно жертвовать чем угодно.

На своем жизненном пути мне посчастливилось близко сойтись с несколькими исключительными людьми. Все они по-разному, каждый по-своему, стремились

принести пользу окружающим. Подобно мольеровскому герою, не подозревавшему, что он всю жизнь говорил прозой, близкие мне люди, герои моего повествования, были бы удивлены, услышав, что они шли по стопам Христа.

Таковыми мне представляются в первую очередь те наши писатели, которые, пренебрегая любыми угрозами, посвятили свою жизнь борьбе за свободомыслие и помощь ближнему.

Именно о таких людях говорил Христос:

«Блаженны алчущие и жаждущие правды... Блаженны изгнанные за правду... Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить... Вы — СОЛЬ ЗЕМЛИ... Вы — свет мира... Так да светит свет ваш пред людьми».

Гордясь ими и часто думая о них, я озаглавил свой труд «Соль земли».

В РОССИИ

Мой дед, Ганс Клуге, выходец из Пруссии, еще студентом переехал во Францию. Там, в Реймсе, в центре Шампани, он овладел искусством виноделия. Оказавшись впоследствии в России, он обнаружил, что земля в Бессарабии на редкость схожа с почвой Шампани. Ему удалось, привезя туда виноградную лозу из Франции, выходить и взрастить ее в новых условиях. Со временем его усилия увенчались полным успехом: его лоза дала в России вино, ничем не отличавшееся от реймского. Знатоки дегустаторы, священнодействуя, одобрительно кивали, смакуя прекрасное вино моего деда.

Так дед сделался одним из наиболее известных виноделов России, превратясь из Ганса в Ивана Ивановича. В Санкт-Петербурге он основал престижную виноторговлю и вскоре женился на девице из благородной семьи Овчинниковых.

У них родилось двое сыновей и дочь. Первенцем был мой отец, Константин.

Такова коротко моя родословная со стороны отца.

В 1912 году, когда я родился, мой отец кончал курс рижского Политехнического института, а мать преподавала русскую словесность в местной гимназии.

Мы жили скромно, лишь на заработки матери. Родители отца, люди состоятельные, не помогали нам, считая мою мать провинциалкой, никак не достойной их сына. Они всячески противились их браку, и лишь мое появление на свет как-то восстановило добрые семейные отношения.

Семья матери жила в Архангельске. Ее отец, отставной полковник Игнатьев, еще молодым офицером увез свою возлюбленную, ускакав с ней в Сибирь. Поженившись, они прожили там немало лет.

Деда понизили в чине, но не из-за похищения девушки, а за дезертирство из полка. Со временем прощенный, он вернулся в Архангельск, выстроил себе

дом и прожил в нем до конца своих дней в окружении жены и девяти детей.

Дед любил перекинуться в картишки с соседями.

Если он проигрывал, то дома ему приходилось выслушивать нескончаемые попреки жены. Тогда он извлекал пятирублевку и сжигал ее на глазах у моей дошедшей до истерики бабушки. Она отлично знала, что дед проигрывал нарочно, чтобы доставить удовольствие партнерам.

Так и осталось неизвестным, как кончил свой век мой дед: узнав об отречении Николая II, потрясенный, он вышел из дому и исчез навсегда.

Моя мать, Любовь, и ее сестра-близнец, Надежда, были до того схожи, что и родители то и дело путали их.

По рассказам старшей сестры мамы, Ольги, мама с детства отличалась особой рассудительностью и склонностью к критике традиционных установлений и порядков. В Московском университете она выделялась исключительным даром красноречия. Профессор, читавший лекции, случалось, просил ее заменить его на кафедре, уверяя студентов, что они от этого только выиграют.

Со временем он порекомендовал ее императорской семье как наиболее блестящую из его слушательниц.

Ей предложили место наставницы детей великого князя Михаила, младшего брата государя, и так как семья князя жила в Гатчине, то и мои родители, покинув Ригу, поселились в этом городке.

В 1914 году, еще до нашего переезда из Риги, родился мой брат, Михаил. С начала войны отец был мобилизован, и с тех пор мы видели его очень редко.

В Гатчине мы жили в одноэтажном деревянном домике, окна выходили прямо на улицу, и я часто проводил время сидя на подоконнике, свесив ноги наружу. Однажды я увидел толпу, а впереди толпы — человека со связанными руками, на груди у него висела дощечка с надписью: «Я вор». Это позорное зрелище запомнилось мне надолго.

В другой раз молодой всадник осадил рысака перед нашим окном и спросил, не сын ли я Константина Ивановича. То был один из братьев матери, Сергей Игнатьев; он узнал меня по сходству с отцом. Двадцать лет спустя я близко сошелся с дядей Сережей. Студентом в летние каникулы я всякий год гостил у него, в домике на самом берегу Рейна.

В Гатчине часто появлялся дед, папин отец, с годами полюбивший мою маму.

Помню, какой-то художник писал маслом портрет отца в военной форме. Этот неподписанный этюд сохранился у меня по сей день.

Война изменила нашу оседлую жизнь. В пятнадцатом году мы покинули Гатчину в переполненном поезде. Маме и мне с трудом удалось втиснуться в вагон, Мишу папа подал нам через окно. С того дня и до конца германской войны мы постоянно переезжали с места на место, ища пристанище, стараясь находиться неподалеку от армейских частей, где воевал отец. Изредка ему удавалось побыть с нами хоть несколько часов.

Из этих лет непрерывного кочевья мне запомнились отвратительные гостиницы с кровожадными клопами, грязные вокзалы — полуразрушенные войной ночлеги.

В последующие годы гражданской войны, когда почти все мужчины находились на фронте и всеобщая разруха сотрясала обезумевших людей, все, кто нам встречался, неизменно обращались к маме за важнейшими житейскими советами.

Так, в поездах, везших нас через всю Сибирь долгую зиму 1919/1920 года, маме, несмотря на крайнюю слабость ее здоровья, постоянно приходилось принимать участие в судьбах множества беженцев. Едва возникали трудности, все обращались к Любови Константиновне.

До этого последнего исхода из России мы прожили год в Томске. Отец оставался где-то на фронте, в частях, мать же служила на бирже. Что значила биржа, я не знал; признаться, я и сейчас, семьдесят лет спустя, мало о ней осведомлен.

Как и ее сестра-близнец Надя, мама страдала припадками эпилепсии, однако ей приходилось служить, оставляя нас, своих сынишек, играть во дворе гостиницы.

До нас постоянно доносились звуки похоронного марша Шопена в исполнении духовых оркестров, сопровождавших катафалки с останками павших в бою офицеров. Мне так и не удалось узнать, как хоронят простых солдат. Во всяком случае, военная музыка была не для них.

Младший брат отца, Владимир, был убит в первых боях войны, двадцати лет от роду.

Отец служил в пехотном полку, почти постоянно находясь на передовой. В пятнадцатом году он был награжден Георгиевским крестом. Этим орденом командование награждало офицеров за исключительную отвагу в бою.

Георгиевские кавалеры не носили никаких иных знаков отличия. При появлении награжденного «белым крестом» другие офицеры, даже чином выше, должны были вставать и первыми отдавать честь.

В конце пятнадцатого года отца опасно ранило в живот. Его выхаживали в знаменитом госпитале в Царском Селе. Позже он шутя вспоминал, как при серьезной операции ему походя, «заодно» удалили и аппендикс.

Однажды мама повела меня навестить отца в госпитале, взяв с собой коробку шоколадных конфет. Папа велел мне предложить шоколад выздоравливающим. Переходя от койки к койке, я держал коробку за крышку. Вдруг она оторвалась и шоколад покатился под кровати. Я бросился подбирать, но в этот момент распахнулись двери и в палату в сопровождении своих дочерей вошла царица в форме сестры милосердия. Потрепав меня по голове, она запретила мне подбирать конфеты, пообещав прислать взамен другие. Я был удивлен тем, как необычно поздоровалась мама с этой дамой, присев в почтительном реверансе. Между ними завязался долгий разговор, мама настойчиво доказывала что-то своей собеседнице.

Едва оправившись, отец возвратился в свою часть. Постоянная опасность, которой он подвергался, подтачивала и без того слабое здоровье мамы.

Однажды его 104-й Малоярославский полк оказался в окруженной немцами крепости Осовец. Осада длилась неделями, потом стало известно, что крепость взята штурмом и все наши офицеры перебиты.

Мама не знала, что накануне падения крепости отцу было поручено прокрасться через неприятельское окружение и доложить командованию о критическом положении гарнизона. Так, выполняя порученное задание, отец избежал участи своих однополчан.

Невольно хочется вспомнить народное поверье: истинная взаимная любовь защищает солдата от ги-

бели. И если за годы двух войн, с четырнадцатого по двадцать первый, отец уцелел, то в этом есть нечто необычайное.

Как отнеслись мои родители к революции?

Когда она грянула, мне было пять лет, и ответить на этот вопрос я могу, лишь вспоминая более поздние споры и дискуссии родителей.

Летом семнадцатого года мы вчетвером жили в келье Троице-Сергиевой Лавры, монастыря в предместье Москвы. У нас был небольшой мешок из-под муки с кусками твердого как камень хлеба. Да и его было немного.

Как-то отец повел нас лесной дорогой в Москву, решив посоветоваться о будущем со своим дядей, генералом Овчинниковым. Старый генерал заявил, что остается со своим народом, которому намерен служить до конца, и что только трусы бегут.

Мне трудно понять, как случилось, что, невзирая на это решительное мнение и на сопротивление, несомненно оказанное мамой, отец решился все-таки расстаться со своей страной. Правда, разрыв этот произошел не сразу. Отец подчинялся Генеральному штабу армии. В гражданскую войну, несмотря на полную неразбериху в командовании, Генеральный штаб продолжал руководить действиями войск в Сибири. Нарушать распоряжения начальства казалось отцу немыслимым. Его характеру были присущи преданность и беспрекословное повиновение, возможно унаследованные от прусских предков.

Воспитанный в армейских традициях, отец инстинктивно противился изменениям государственного строя.

Мать же всей душой была с революцией.

Вспоминаю, с какой издевкой отец впоследствии произносил слово «эсеры». Он не объяснял мне, почему именно они так ему не нравились. Просто это были мерзавцы, вот и все. Однако в присутствии мамы он избегал таких резких суждений. Но все это происходило позже, в эмиграции, в Маньчжурии.

В России моим родителям редко представлялась возможность поговорить или поспорить о чем-либо основательно, так внезапны и кратки были появления отца.

Отец отличался редкостным добродушием. Его невозможно было оскорбить. Ни пустой гордыни, ни обостренного самолюбия. Как-то, уже в преклонных летах, его обвинили во взяточничестве. Он ни слова не сказал в свое оправдание, а когда обнаружилось, что «хапнул» не он, а его начальник, отец всячески пытался его выгородить.

Снисходительный к слабостям людей, он был чужд злословия. Скромность и простота в общении с окружающими, ни малейшей попытки возвыситься над ними — вот привлекательные черты его характера.

В пекле шанхайского лета артель китайских рабочих под наблюдением отца чинила трамвайную линию. Адский грохот пневматических отбойных молотков глушил уличные шумы. Проезжающая машина сбила рабочего. Обливаясь кровью, он упал на мостовую. Растолкав топлу, отец поднял несчастного на руки как ребенка и бросился с ним в ближайшую аптеку.

Я убежден, что среди сотен тысяч иностранцев, живущих в Шанхае, он один был способен на подобный поступок. Все эти выходцы из Европы и Америки относились к китайцам с таким расовым пренебрежением, что никому из них не могло и в голову прийти прижать к своей груди грязного, в поту и крови китайца.

Было бы несправедливо полагать, что столь высокомерное отношение к «туземному» населению было присуще лишь представителям традиционных колониальных держав. Оно оказалось не чуждо и нам, русским. Живя в Маньчжурии, мы видели, с каким спесивым чувством превосходства большинство наших соотечественников относилось к китайцам. Маньчжурия, вернее Китайская Восточная железная дорога, КВЖД, пересекавшая с запада на восток эту огромную провинцию Китая, была типичной русской колонией, врезавшейся в китайскую землю. О том, как нам жилось в Маньчжурии, я еще расскажу. Здесь же мне только хотелось подчеркнуть сердечное отношение отца к китайцам.

Несомненно, что эти черты его характера влекли к нему мою мать, несмотря на углубившуюся за годы войны изрядную ограниченность его взглядов. Не будь мать так привязана к нему, она не покинула бы Россию. Несмотря на зловещие вести, доходившие до нас,

мама жила надеждой на скорое утверждение справедливости в ее стране.

Большинство эмигрантов, покидая Россию, оставляли все свое имущество и владения. Иначе сложилась судьба моих родителей, — их бесконечные скитания начались с войной четырнадцатого года. С тех пор все в их жизни казалось им временным. Как тогда говорилось, «жили на чемоданах», вечным транзитом, мечтая о скором возвращении в родные края.

Молодым человеком отец подружился с соучеником по киевскому военному училищу Павлом Германом. Павел пригласил его погостить в своей семье. Там отец познакомился с сестрой жены Германа, Любовью Константиновной Игнатьевой.

Девушка полюбилась отцу, поразила его живостью ума и широтой познаний. Все свершилось скоропалительно, — не прошло и нескольких дней, как они решили пожениться. Бракосочетание произошло у Германов, с которыми они с тех пор постоянно поддерживали связь.

Поддавшись настойчивым уговорам молодой жены, отец оставил военное училище и, перебравшись в Ригу, поступил в Политехнический институт.

В пятнадцатом или шестнадцатом году наши прифронтовые скитания привели нас в Житомир, где жили Германы. Там я впервые встретился со своим двоюродным братом Юрием, он был на два года старше меня. Германы не покинули Россию, и только пятьдесят лет спустя я вторично увидел Юру, уже седого. Все эти годы каждый из нас жил в совершенно особом, ином мире. Ничего общего не было ни в нашем образовании, ни в людях, с которыми сводила нас судьба. Ничто, казалось бы, не должно было нас сблизить, кроме общего для нас русского языка. Однако, когда в шестьдесят третьем году мы встретились в Париже, сразу открылось, что и мыслим мы одинаково и наши стремления направлены в одну и ту же сторону.

После падения Временного правительства Керенского отцу удалось раздобыть документы рядового солдата. Исчезли погоны с его гимнастерки, Георгиевский крест запрятан.

Мы покинули Москву в поезде, набитом ехавшими на Волгу демобилизованными солдатами. На полках в три яруса сидели, тесно прижавшись друг к другу, люди и покуривали махорку. Изредка ошметки грязи падали с их сапог перед нами, сидевшими внизу.

У курящих не хватало спичек, и они зажигали друг у друга свои самокрутки, говоря: «Товарищ, прикури!»

Чтобы нам сидеть чуть просторнее, папа всю дорогу простоял в дверях купе, что не мешало ему отлично высыпаться.

Подражая вагонным спутникам, Миша и я бегали потом по коридору гостиницы в Самаре с бумажкой в губах, крича: «Товарищ, прикури!»

Дальше мы двигались по Волге и по Каме на колесном пароходе, затем снова пересели в поезд, шедший на восток.

Бесконечная русская равнина сменилась изумительными горами. Наш поезд то мчался над обрывом, вдоль круч и пропастей, то исчезал в нескончаемых туннелях, наполняя их дымом.

Меня особенно поражали разноцветные сверкающие минералы, мелькавшие в окнах вагонов. Мы переезжали через Урал, покидая европейскую Россию.

Последовали восемнадцатый и девятнадцатый годы. Мама, Миша и я жили в Томске, папа воевал на западе Сибири под командованием Колчака, которому был всецело предан.

Выданный союзниками красным, Колчак был тотчас же приговорен к расстрелу. Со слов очевидцев, ему позволили самому командовать собственной казнью. Мощным голосом он скомандовал: «По адмиралу русского императорского флота Колчаку ОГОНЬ!»

После гибели Колчака возникло по Сибири еще несколько предводителей белых группировок, но исход гражданской войны уже не подлежал сомнению. Среди новых вожаков наиболее заметными оказались атаман Семенов и барон Унгерн. Отцу невольно довелось иметь дело с обоими. У них не зря сложилась репутация опаснейших авантюристов.

Появления отца в Томске были крайне редки. Случалось, что он привозил с собой подарки. Однажды он удивил нас, привезя мне коллекцию уральских минералов — четыре застекленные коробки с красавцами самоцветами в мягких гнездышках. Особенно поразил

меня «золотоносный кварц», как гласила надпись, — в нем действительно посверкивали вкрапления золота. Отец выменял эту коллекцию на свой армейский паек. Ему хотелось разбудить в семилетнем сыне интерес к наукам, к знанию, к культуре. Легко вообразить, какой заманчивой казалась ему эта полузабытая культура, истерзанная, растоптанная бесконечной бойней.

Представляю себе удивление, а может, и иронию, с какой мама встретила этот двухпудовый подарок. Предпочла ли бы она ему мешок муки?

Я так не думаю.

Ω

В ноябре девятнадцатого года управление Генерального штаба объявило о срочной эвакуации Томска ввиду ожидаемого его падения. Семьям офицеров предоставили состав классных вагонов и теплушек, отбывающий на Дальний Восток. Давно не имея вестей о муже, мама решила остаться, но судьба распорядилась по-своему: папа появился у нас в тот же вечер.

Отцу было поручено добраться с нашим поездом до ставки атамана Семенова и разузнать, что представляет из себя эта сомнительная личность. «Во спасение России» Семенов изловчился присвоить остатки русской казны и ценностей короны.

Семенова насторожили папины расспросы, и, чтобы отделаться от него, атаман уговорил отца свезти барону Унгерну какое-то якобы крайне важное сообщение.

Унгерн действовал южнее, в монгольских степях. С характерной для него беспечностью отец отправился к Унгерну, пренебрегая зловещей молвой об этом остзейском бароне: явиться пред его пьяные очи можно было беспрепятственно, но не так-то просто было живым покинуть его войско. Отцу захотелось попутно пополнить свой рапорт Генеральному штабу сведениями и об Унгерне.

«Не все в жизни зависит от нас», — говорил, бывало, папа, имея в виду участие в ней Судьбы.

По приезде в Ургу, в расположение ставки Унгерна, отцу стало ясно, что он имеет дело с опаснейшим психопатом, распоряжавшимся фронтом в двести верст.

Объявив себя породнившимся чуть ли не с самим Далай Ламой, Унгерн заполучил от буддийской иерар-

хии какое-то важное звание, и сибирские кочевники, духовно связанные с Лхассой, вливались в его войско.

Унгерн фон Штернберг встретил отца с распростертыми объятиями. Барон видел в нем подлинного профессионала, полковника дореволюционного генерального штаба, в то время как иные лейтенанты тех лет сами производили себя в генералы.

Постоянно пьяный, Унгерн был очень хитер, не питая доверия ни к кому, кроме офицера, командовавшего постоянными расстрелами.

Невзирая на отказы отца, Унгерн навязал ему реорганизацию своего дикого воинства. Но ни азбука военной науки, ни личный опыт отца не имели никакого реального влияния на сумасшедшего барона. Болезненно недоверчивый, Унгерн был противником телефонной связи, уверяя, что для сообщения у него имеются отличные наездники. К тому же он запрещал оставлять пленных в живых...

Малейшее ослушание влекло за собой немедленный расстрел.

Несмотря на угрозы, отец месяцами противился инструкциям Унгерна, вызывая постоянные скандалы. Так длилось до того дня, когда отца предупредили о его неминуемом расстреле.

Что делать? Бежать из Урги? Но как и куда?

Бродя в мрачном раздумье по улицам, отец наткнулся на старого друга, командира военной части, проходившей через Ургу. Они обнялись, и отец поведал ему о своей горькой участи. Не теряя ни минуты тот укрыл отца среди солдат своего войска, которое немедленно двинул на восток.

Подружились они в начале германской войны, при весьма необычных обстоятельствах. О них стоит рассказать.

Офицерам дивизии отца поступило приглашение на похороны убитого в бою монгольского князя, возглавлявшего кавалерийскую часть его единоверцев. Из всех один отец отозвался на приглашение, другие считали подобные обряды варварскими. Как единственному представителю русской армии, отцу был оказан особый почет братом павшего князя: после погребения он, глубоко тронутый участием отца и тем, что тот также потерял в бою своего брата, предложил ему стать его названым братом. Последовал специальный церемониал,

во время которого отцу был вручен широкий кинжал с костяной рукоятью, принадлежавший покойному князю, а до него — поколениям монгольских наездников. С этим кинжалом отец не расставался долгие годы. И вот спустя немало лет, в один из наиболее критических моментов жизни, та же судьба свела отца с его названым братом.

Шли недели. Скитаясь по сибирской тайге, отец набрел на патруль красных. Его самозащита была мгновенной. С помощью кинжала ему удалось отбиться и вновь повернуть на юг, в степи Монголии.

Непостижимо, как человек исключительно добрейшей души, каким был мой отец, может превратиться в убийцу. Что же, воин прежде всего обучен убивать врага. Он не раздумывает, не колеблется, нанося смертельный удар. Но проходят годы, сама его природа, врожденные его черты берут верх над ожесточением и зверствами войны и он силится забыть ужасное прошлое.

После семи лет непрерывной резни отец утратил способность задавать себе нравственные вопросы. Вопросы за него задавало себе его начальство. Он стал с недоверием относиться к рассудительности, к логическим выводам.

«Эх ты, философ!» — смеялся он надо мной. Философы, на его взгляд, были достойны насмешки, не то что «настоящие мужчины».

В течение двух лет, которые мы прожили все вместе в Маньчжурии, до кончины мамы, я замечал несогласия, то и дело вспыхивавшие между родителями. Чтобы прервать спор, мама обычно говорила, что их пререкания непедагогичны, то есть не для моих ушей. Однако смысл спора, равно как и его «непедагогичность», были вполне понятны мне и всякий раз я убеждался в правоте мамы. Глубина ее мысли, как и разносторонние знания, выраженные с присущим ей исключительным даром слова, неизменно брали верх над категорическими, безапелляционными аргументами полковника генерального штаба.

В восемь лет я был крупнее и расторопнее своих сверстников и мечтал выделиться каким-либо героическим поступком. Наше железнодорожное путешествие

через Сибирь, длившееся всю зиму, дало мне немало таких возможностей.

С нами ехали почти исключительно женщины и дети. Состав останавливался, и, перед тем как получить разрешение двигаться дальше, мы иногда несколько суток простаивали на заваленном снегом полустанке. Пути были загромождены составами, набитыми австрийскими военнопленными, японскими воинскими эшелонами и, наконец, поездами с самыми несчастными — изголодавшимися беженцами; им самым последним выдавались скудный провиант, топливо и, главное, разрешение двигаться дальше.

Случалось и другое: простояв на станции несколько минут, наш поезд вдруг без предупреждения трогался с места. Но и этих считанных минут мне хватало, чтобы метнуться с двумя чайниками к медному крану, заметному издали по клубящемуся над ним пару, и, наполнив их кипятком, прибежать обратно.

Не помню ни одной сибирской станции, где бы не было постоянной выдачи кипятка. На всех путях тянулись промерзшие поезда, и мне приходилось не раз нырять под вагоны.

Настал канун Рождества. Поездной машинист, решив, что и нам, беженцам, нужны традиционные елки, остановил поезд шагах в ста от елового леска. Разом изо всех вагонов повыскакивали обрадованные люди, вооруженные кто чем. Мама долго не пускала меня, но, помедлив, разрешила, и, схватив кухонный нож, я устремился к рощице.

Увы, когда я до нее добежал, все маленькие елочки были срублены, оставалась лишь одна большая ель. Досадуя, я с трудом срезал изрядную ветвь и поволок ее к нашему вагону. Никого вокруг уже не осталось. Вдруг наш состав, вздрогнув, тронулся с места и медленно стал набирать скорость. Не будь глубокого снега и длинной ветки, я бы быстро догнал его. Я видел, как мама, отчаянно жестикулируя, заметалась, перебегая из вагона в вагон. Мне не удалось вскочить на движущиеся ступеньки и только отчаянными бросками, прыгая по шпалам за поездом, с помощью мамы я смог забраться на последнюю площадку. Слишком растроганная мама воздержалась от упреков.

Ничто, однако, не осталось в моей памяти так отчетливо, как тот день, когда мне поручили охранять

ночью наш поезд. Нам то и дело приходилось останавливаться к ночи на путях, поодаль от какого-либо поселка, и охранять поезд от нападений бандитов, которыми кишела Сибирь. Для этого два вооруженных часовых шагали с каждой стороны состава. Мне выдали заряженную винтовку с наказом стрелять при малейшей опасности, поднимая тревогу.

Винтовка до боли давила мне на плечо, когда я вышагивал от одиннадцати до часу ночи по скрипучему снегу. Но чувство безумной гордости наполняло мою душу.

Наш поезд окружала непролазная грязь, когда в апреле двадцатого года мы прибыли в Харбин, центр Маньчжурии. Мама получила назначение директрисой высшего начального училища на железнодорожной станции в ста пятидесяти километрах на восток от Харбина, называемой Имяньпо, и мы туда немедля переехали.

Помнится мне пробуждение в предоставленном нам доме. Меня поразили размеры окон, хотя это и были обычные окна, — просто за четыре месяца я привык к оконцам наших убогих вагонов.

Со двора доносились звуки курятника. Новая жизнь открывалась для нас, мы перестали быть беженцами, обретя постоянный кров.

Было ли это счастьем?

В МАНЬЧЖУРИИ

Если бы только папа мог быть с нами! Но он все еще был где-то на фронте. Мысль, что ему постоянно грозила смерть, не приходила мне в голову. Мучила ли она бессонными ночами маму, несмотря на ее оптимизм? Полная доверия к окружающей жизни, хотя ее собственные дни и близились к концу, она учила меня не опасаться будущего, когда ее не станет. Даже в самые последние дни она умела шутить над тем, что ее ожидает, как будто в этом нет ничего особенного. А ведь ей было всего тридцать пять лет!

Мама заведовала высшей начальной школой. Низшей начальной управлял с иголочки одетый украинец, по фамилии Крахмель. Большого роста, полысевший, он носил монокль, в петлице его сюртука красовался бутон розы.

Мама сдавала две комнаты нашего дома одиноким учителям. Одним из жильцов оказался преподаватель рисования Ширяев. Этот гигант огромного роста мог обойти наш дом на руках.

Миша и я не ходили в школу. Только Ширяев изредка водил меня в свой класс, где я срисовывал животных с висевших на стенах изображений.

Имяньпо слыл наиболее популярным курортом «линии», и с каждой весной все больше харбинских жителей приезжало к нам.

Летом мама решила готовить обеды для приезжих. Наш китаец повар, заявивший, что его зовут Василием, приготовлял незатейливую русскую пищу. Помнятся шумные застолья на обширной, заросшей виноградом веранде. Маме удавалось направлять разговоры на интересные темы, вызывая всеобщее одобрение.

Однажды вечером дверь нашей столовой распахнулась и перед нами предстал обросший бородой, исхудавший человек в рубище. На его поясе висел наган и старинный кинжал.

Это был мой отец!

Пройдя пустыни Монголии большей частью пешком, от кочевья к кочевью, он стремился на Дальний Восток, где надеялся разыскать нас.

Побритый, переодетый и обутый, он показался нам еще более привлекательным, чем прежде.

Вскоре он получил назначение учителем математики в школе, которой заведовала мама.

...Все случилось внезапно на педагогическом совете. Отцу показалось, что Ширяев позволил себе какие-то двусмысленности, непозволительные намеки на его, Ширяева, близость к маме. Вернувшись домой и вооружившись, отец отправился к учителю рисования потребовать от него объяснения.

Увидев револьвер, Ширяев выхватил его у отца, но тут же блеснул монгольский кинжал, тяжело ранив в горло нашего жильца.

К счастью, после шести месяцев больницы Ширяев поправился и пожелал принести извинения отцу.

Спрятавшись в кустах сада директора Крахмеля, я наблюдал за примирением противников. Не произнося ни слова, они долго жали друг другу руки. Ширяев не подал в суд; его перевели в Харбин, где и затерялся его след.

Со своим веселым характером и богатырским здоровьем, отец вносил в наш дом постоянное оживление. Так и вижу его пляшущим вприсядку и одновременно играющим трепака на мандолине.

Полное наше счастье омрачалось лишь мамиными внезапными припадками эпилепсии. Они приводили меня в отчаяние. К ним я никак не мог привыкнуть.

Осенью двадцать первого года было решено съездить во Владивосток. В то время Дальний Восток все еще оставался в руках белых.

Там мы обнаружили большинство наших спутников по Сибири. Бездомные, они все еще ютились в том же поезде, оставленном на запасных путях. То были исключительно женщины с детьми, с завистью смотревшие на маму, к которой вернулся муж, — они-то жили одними надеждами.

Зимой мама слегла. Лишения многих лет, особенно зима, проведенная в поезде, вконец подорвали ее организм.

Ни мы, ни ее врач не подозревали, что она страдала туберкулезом кишечника. Однажды, прописывая ей лекарство, доктор по ошибке поставил запятую правее на одну цифру, невольно удесятерив дозу белладонны. У мамы произошло внутреннее кровоизлияние, от которого ее едва спасли.

Оправившись, она возвратилась в школу, к любимым урокам русской словесности.

Изредка Мише и мне разрешалось присутствовать при литературных импровизациях: ученики читали поэмы (помнится, «Полтаву» Пушкина), а папа с помощью «волшебного фонаря» проецировал на экране главные сцены из поэмы. Хотя изумительное творение Пушкина и было нам известно почти наизусть, мы всякий раз слушали его с замиранием сердца.

Не в состоянии из-за болезни присутствовать в Харбине на съезде учителей, мама написала доклад о новом правописании. В нем говорилось о многолетней борьбе за упрощение нашей орфографии, которую вела прогрессивно настроенная интеллигенция прежде всего за упразднение совершенно ненужной буквы «ять». Эта буква являлась камнем преткновения на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, особенно для молодежи из малоинтеллигентной среды.

Мамина рукопись у меня сохранилась...

Две объемистые книги в кожаных переплетах, с замечательными иллюстрациями никогда не покидали нас в наших бесчисленных скитаниях по России. Это были драгоценные Пушкин и Лермонтов.

В нескончаемом пути через заметенные снегами леса и поля Сибири, при слабом свете свечи мама перечитывала нам бессмертные поэмы. Как сплетения на переплетах этих книг выпуклых листьев аканта, которые я пытался срисовывать, так и звонкие стихи Пушкина врезались в мою память. Все прекрасное, возвышенное, чем они были исполнены, жадно впитывалось мною и мне принадлежало навсегда.

По приезде из Сибири в Харбин наш багаж состоял из тяжеленного ящика с коллекцией уральских камней, обветшалого чемодана с бельем, семейными фотографиями и неразлучными Пушкиным и Лермонтовым. В нем находилась еще и черная с золотым обрезом книжечка. Изредка мама читала нам из нее. В ней рассказывалось, как Иисус Христос, переходя с места на

место в Палестине, обращался к народу и творил невероятные чудеса. Кое-что напоминало сказочные былины и легенды, читанные еще в Томске. Следовало ли верить всему, что мы слушали? Мама никогда не настаивала на этом. И все же именно по тому, как серьезно она относилась к чтению Нового Завета, я знал, что в нем таится понятие о том, что такое Бог.

Не помнится, чтобы мама водила нас в церковь. Меня всегда удивляло, как упорно избегала она участия в спорах о религии, возникавших едва ли не всякий раз, когда у нас собирались гости. Думаю, она не хотела в нашем присутствии осуждать церковность, чтобы не подрывать наши понятия о Христе. Видимо, несмотря на всю силу и глубину ее мышления, она была не в состоянии отделить учение величайшего моралиста от всего того, что, пользуясь его же именем, творит духовенство.

Почему Миша и я не ходили в школу? Надо думать, знания, вложенные в нас мамой за годы наших скитаний, выходили за рамки школьных программ.

Зато к нам был приставлен учитель китайского языка Хэ Тземин. Не говоря ни слова по-русски, этот милейший преподаватель проводил с нами ежедневно по два часа. Придя к нам в первый раз, он указал на приготовленные к уроку стол и стулья и сказал: «Тсуо— сиан». Затем написал десять простейших иероглифов и, загибая пальцы, стал считать, показывая на написанное. И если два года спустя наше знание китайской письменности оставалось недостаточным для обычного чтения, то болтали мы оба на этом языке не хуже наших сверстников китайчат. Больше того, наш «сиеншын» (то есть учитель или господин) познакомил нас с языком древних сказаний, употребляемым лишь в театре, и мы отлично его понимали.

Я же был особенно увлечен каллиграфией иероглифов и самим владением кистью — тысячелетней традицией Китая.

После некоторого облегчения маме снова стало плохо, и ее пришлось перевезти в лучшую клинику нашей «линии», на станцию Хан-Дао-Хэ-Дзе. Папа должен был оставаться в Имяньпо до конца учебного года. Я каждый день писал маме письма.

Ее состояние оказалось безнадежным. В крайнем отчаянии отец обратился к религии.

На беду, это совпало с великим постом, когда богослужения особенно длительны, мрачны и монотонны и состоят главным образом из чтения псалмов и «Жития святых». То ускоряя ритм, то растягивая чтение, заунывно, нараспев, доходя до восклицания «аминь», дьячок все быстрее и быстрее повторяет: «Помилуй, господи!» Два эти слова сливаются, превращаются в бессмысленное «помилуйгос... помилуйгос...»

Папа требовал, чтобы мы не пропускали ни одного из ежедневных богослужений, особенно в пору долгого говения. Не в силах выстаивать подобные службы, мы с братом, делая вид, что стоим на коленях, садились на пятки и, борясь со сном, перешептывались о всяких пустяках, стараясь насмешить друг друга. Сонливости благоприятствовал и мрак, едва рассеиваемый несколькими свечами.

Неделями нас мучил неизбежный для законопослушных постящихся голод.

Видимо, отец заключил некий договор с Всевышним, по которому мамино выздоровление зависело от соблюдения нами всех церковных правил. Когда же его надежда не сбылась и мамы не стало, отец в течение двадцати лет ни разу не переступил порога церкви.

В последнюю, страстную неделю поста, самую истощающую, надлежало исповедоваться и на следующий день причащаться. Причастие состояло из ложечки вина, в котором плавали кусочки просвиры.

По ходу службы эти вино и хлеб превращаются — так утверждает религия — в настоящую кровь и плоть Христову! Мы, понятно, ни на минуту не верили в подобный фокус, а то, что весь приход пользовался одной и той же ложкой, казалось нам отвратительным.

Возмущал нас и обряд исповеди. Случилось, что, исповедуясь, я в свою очередь принялся задавать попу неожиданные вопросы. Рассвирепев, он заявил, что в эту минуту он — воплощение Господа и такому сопляку, как я, следует побольше молиться, дабы обрести смирение перед Всевышним.

За Пасхой в тот год пришла на редкость сверкающая весна. Все вокруг нас сияло. Но мама была все еще в клинике, никак не поправлялась. Едва окончился учебный год и отец освободился, мы отправились в

Хан-Дао-Хэ-Дзе. Нас двоих поселил у себя местный учитель, а отцу разрешили ночевать в маминой палате.

Учитель, приютивший нас, оказался страстным пчеловодом, владельцем большой пасеки. Меня почему-то особенно влекло к пчелам, и я целые дни проводил в их трудолюбивом, жужжащем мире. Пчелам я, видимо, тоже понравился, и они меня жалили крайне редко.

Каждый день после обеда, с двух до четырех, мы навещали маму. Все это время она читала нам захватывающие приключения Жюля Верна. Отвага его героев так увлекала наше воображение, что мы не замечали близившейся маминой кончины.

Как-то во время чтения в палату вошел врач. Послушав ее пульс и сверясь с записями на листке в изножье кровати, он пригласил отца за собой в коридор. Там он сказал ему, что, по-видимому, конец совсем близок.

Раньше обычного под предлогом, что мама устала, нас отослали домой. Я думаю, она поняла, что все это значило. Она умерла той же ночью.

Проснувшись ранним утром, я увидел папу, стоявшего в нашей комнате. Хоть он и молчал, я сразу понял, что́ случилось. Его красивое лицо приняло выражение недоумения, горестного удивления. Брови оставались постоянно подняты, а глаза печально смотрели куда-то, где уже не было самого главного. Это выражение не покидало его неделями.

Маму хоронили в Имяньпо. Ее брат Димитрий с женой приехали на похороны из Харбина. Мне было сказано читать вслух Евангелие у ее изголовья. Произнося знакомые фразы, я поглядывал на нее, лежавшую на столе, окруженную цветами, и не находил в этом мертвом теле ничего общего с мамой, всегда полной жизни, веселья и любви. Все это не могло пропасть, исчезнуть. Оно было, оно продолжало быть, но только не в этой комнате, заваленной венками цветов. То, что я видел, было чем-то иным, непонятным, но только не моей мамой.

Не верил я в ее исчезновение. Может быть, поэтому мне и не помнится, чтобы я ее особенно оплакивал. Мне казалось, что ее дух, ее мысли все еще со мной, и ничто другое не имело большого значения. Память о ней меня не покидала.

Помнится, как однажды утром она спросила нас, не мы ли случайно выпили бутылку портвейна, стояв-

шую в глубине буфета. Мы в два голоса стали уверять ее в нашей невиновности.

«Зная вашу честность, я спрашиваю исключительно для очистки совести — ведь не воры же вы! — говорила она нам. — Однако мне придется рассчитать Василия — не допускать же кражу в нашем доме!» И чем дольше она как бы советовалась с нами, тем мучительнее становилась необходимость признания. Допустить, чтобы наш друг Василий поплатился за наши грехи, мы не могли.

В другой раз мама спросила меня, чистил ли я зубы. Да, чистил. Она повторила вопрос настойчиво два-три раза. Почему-то я упирался во лжи, добавив даже, что моя щетка еще мокрая. Мама пристально посмотрела на меня, прежде чем сказала: «Дай мне честное слово, что ты это сделал». Никогда, ни до, ни после этого случая, она не требовала от меня «честного слова». Я стоял перед ней не в силах вымолвить эту клятву.

Казалось, все население нашей станции шло за маминым гробом, — она успела завоевать всеобщую любовь и уважение.

Мы похоронили ее в июле 1922 года и по настоянию дяди Мити отправились до конца лета к нему в Харбин. Вернулись же мы в Имяньпо с Маней, женщиной лет тридцати, — папа нанял ее хозяйничать по дому.

Симпатичная и трудолюбивая Маня сразу привязалась к нам и мы к ней. Как только зажигались керосиновые лампы, Маня садилась читать нам вслух. Фенимор Купер с его краснокожими заменил Жюля Верна. Иногда папа присоединялся к нашему кружку.

Никаких особенных событий не припоминается за эту зиму, кроме бешенства нашей коровы, которую папе пришлось застрелить из нагана. Но так как мы пили ее молоко, к нам каждый день приезжал фельдшер делать уколы от водобоязни. Мы прозвали его пикадором: сжав пальцами толстую складку кожи на животе, он буквально метал в нее свой шприц.

Зимой, после смерти мамы, отец принялся рисовать угольным карандашом женские головки. Не скажу, срисовывал ли он их с чего-либо или они возникали по его вдохновению. Вернее всего, что именно так. У одной из его красавиц оказалось оголенное плечо. Среди них царила цыганка с огромными серьгами из-под угольно-

черных, антрацитных кудрей; ее сверкавшие, полные соблазна глаза манили своей живостью.

Я был поражен такими возможностями искусства. Папе удавалось передать под легкими складками блузок вздымающиеся груди.

Воодушевленный творческим порывом отца, я в свою очередь принялся за рисунок. С той лишь разницей, что вместо красоток я занялся портретами наших великих писателей прошлого века и развешивал их в ряд над своей кроватью. Все находили их очень похожими.

В эту зиму характер отца резко изменился. Он стал вспыльчив и требователен.

С наступлением весны папа зачастил в дом князя Кекуатова. Ах, как Маня возненавидела эту семью! Слова «князь», «княгиня» и особенно «княжна» произносились ею с презрением и ненавистью. Удивительно, как интонация способна изменить значение сказанного.

Маня обнаружила, что папу влекла к новым друзьям их двадцатилетняя дочь Наталия. Поддаваясь негодованию Мани, Миша и я всячески поддерживали ее попытки воспротивиться намерениям отца. Мы постоянно дерзили бедной девушке и саботировали ее уроки английского, которому она приходила нас учить.

В один прекрасный летний вечер отец вернулся из Харбина в шумной компании подвыпивших педагогов. Отозвав меня и Мишу, он объявил, что Наталия Николаевна и он поженились, что хотя она и не заменит нам нашу маму, но с этого дня она хозяйка дома и мы обязаны ее уважать и ей повиноваться. Видя наши надутые физиономии, отец повторил свои слова значительно более резко.

Наша мачеха, видимо, обладала особым терпением и ангельским характером, перенося наше нахальное отношение.

Спустя недолгое время Маню отослали в Харбин, и мало-помалу Миша и я убедились, что наша «новая хозяйка» хотя и высокого княжеского рода, но скромный и милейший человек. Через год у нее родилась дочь Люба.

У нашей мачехи был младший брат Дмитрий, мой ровесник. От своего татарского предка, хана Кекуя (обрусев, хан стал князем Кекуатовым), Митя унасле-

довал скуластость, мясистый рот и атлетическое телосложение. Он наотрез отказывался от занятий, был лучшим среди мальчишек пловцом и уговаривал свою матушку позволить ему стать дровосеком. Все попытки приобщить его к миру культуры оставались тщетными. Как я ни старался втянуть его в занятия, ничего из этого не выходило.

Случалось, в нем пробуждались склонности его степных предков. Однажды, выпив лишнего в день рождения одной из своих сестер, он вскочил на диван, сорвал со стены отцовскую саблю и, вертя ею над головой, с дикими криками стал выгонять гостей. Никто не решался приблизиться к нему. Пришлось позвать папу — одного его Митя побаивался.

В Имяньпо у нас, подростков, был большой выбор игр и спортивных занятий. Чем они были опаснее, тем больше привлекали нас! Летом мы не вылезали из Майхэ. Река эта, в обычное время не шире Сены в Париже, вздувалась в период дождей и, сметая все с берегов, несла бурлящие воды к слиянию с Сунгари, а та — с Амуром.

У китайцев Маньчжурии был обычай ставить гробы умерших родственников у самой воды, с расчетом, что при разливе река унесет их подальше. Когда же это случалось, то оплакивающая родня с ритуальным лицемерием удваивала проявления скорби.

Как только массивный гроб появлялся, мчась по бурному потоку, мы ватагой пускались вдогонку и общими услиями подталкивали его к берегу. На севере Китая эти гробы сколачивались из толстых досок, скорее даже плах, с особым утолщением у изголовья. Нашу добычу мы тут же разбирали на части и уносили к себе на дрова, что приносило нам весьма существенное вознаграждение.

Во время бурных летних разливов Майхэ, меняя местами русло, на поворотах врезалась в противоположную сопку, образуя обрывы. Когда стремнина утихала, нашим любимым занятием было, переплыв реку, нырять с высоты обрыва.

Купальными кальсонами или костюмами имяньповские жители не пользовались. У нас были пляжи для мужчин и отдельные — для женщин. Случалось, что унесенный течением пловец, выбравшись на сушу, оказывался напротив женского пляжа. Тогда, прикрыв

руками «крайнюю плоть», он рысцой по бережку торопился восвояси.

Девушки же и их матери, как ни странно, нисколько не стеснялись наготы.

Зимой Майхэ превращалась в отличный каток для конькобежцев, а сопка — в идеальный трек для салазок.

Ω

Всякий раз, вспоминая нашу жизнь в Маньчжурии, я с возмущением думаю об отношении нас, русских, к китайцам. Тогда как наши сады утопали в зелени, китайцы ютились в отдалении, в дощатых домиках, плотно прижатых один к другому, без пяди земли для садика или огорода. Их лачуги смотрели на пыльную дорогу мизерными лавчонками, в харчевнях вплотную сидели люди, в стужу греющие руки о фарфоровые чайники или всасывающие лапшу, подталкивая ее в рот палочками. Этот поселок мы называли «китайским базаром».

Улица, кишевшая детворой, свиньями и курами, в дождливую пору покрывалась грязью, в которой вязли маленькие лошадки, тащившие непосильную поклажу.

Из нескольких более устроенных харчевен неслись заманчивые запахи неведомой нам китайской кухни. Нашему повару не пришло бы в голову приготовить для нас что-либо из этих блюд — он знал, с каким предубеждением мы к ним относились, как и ко всему китайскому. Могу с уверенностью сказать, что апартеид не исключительно южноафриканская система людских взаимоотношений.

С начала учебного года отец определил меня во второй класс школы, сказав, что это будет полезнее, чем торчать день-деньской на катке.

В этой «маминой» школе каждый класс был отдан одному из учителей, под его попечение. К несчастью, моим классным наставником оказался мой отец. Едва он входил в класс, воцарялась мертвая тишина, и я мог тотчас же услышать: «Клуге, почему доска плохо вытерта?!» — или еще какое-нибудь резкое замечание. Я был козлом отпущения. Вдобавок ко всем этим строгостям от меня требовалось постичь смысл геометрии

и алгебры. Как я ни силился, мои мозги отказывались вникать в эти науки. Иксы с игреками расплывались в тумане.

Когда же отец принимался разъяснять мне эти премудрости дома, меня поражало его терпение и отсутствие строгости.

Не все воспоминания моего первого учебного года оставили во мне печальный след. У нас был преподаватель рисования, каждые два месяца устраивавший выставку наших «художеств». Выбору сюжетов он не ставил никаких ограничений. Некоторых ребят влекло к ботанике, иные вычерчивали во всех деталях разрезы механического устройства паровозов. Были и такие, кого занимали черепа и скелеты животных и птиц. Не помню, что именно я отдавал на эти выставки, настолько я был поглощен новыми проблемами и ощущениями. Помню, однако, что меня хвалили.

В те дни для меня открылся совершенно новый мир. Мир, в котором кроме сорванцов вроде меня жили и нежные создания — девочки, производившие на нас, мальчишек, необычайное впечатление.

Как только я появился в школе, милые одноклассницы стали совать мне записочки, назначая свидания в школьном парке.

Польщенный было таким успехом, я вскоре убедился, что их внимание вызвано не мной, а моим отцом. Видимо, их привлекала незаурядная мужественность и исключительная наружность отца. Они задавали мне вопросы о его прошлом, и я с увлечением расписывал его военные похождения, не стесняясь их приукрашивать, а то и просто выдумывать.

Раз в месяц в школе устраивались вечеринки с танцами. Под духовой оркестр мальчики и девочки танцевали вальсы, польки и мазурки. Вальсируя, можно было как бы нечаянно привлечь партнершу к себе, и прикосновение в движении к девичьему телу вызывало доселе не испытанные нами ощущения.

В конце учебного года отец предупредил, что с осени я перевожусь в частную гимназию, где учился Митя Кекуатов.

Там после краткого экзамена, перескочив через третий класс, я оказался в четвертом. До этого летом ко

мне был приставлен отличный репетитор по математике, и с тех пор меня всегда влекла эта четкая, логичная область знания.

Наш четвертый класс был смехотворно мал. В нем насчитывалось всего трое учеников: Митя Кекуатов, Сема (Соломон) Малкин и я. Наше самолюбие страдало всякий раз, как нам напоминали, что наша «классная комната» переделана из уборной. Парта на троих занимала почти все ее пространство. Оставалось лишь место для учительского стула; слегка поворачиваясь, он писал мелом на доске, в то время как его левый локоть покоился на парте.

Нашим успехам, надо думать, способствовало отсутствие отвлекающего элемента — девочек. К тому же, когда учеников так мало, учитель неотступно контролирует ход урока и ученикам ничего не остается, как относиться к нему со всем вниманием.

В отличие от моей предыдущей школы требования моды потеряли все свое значение. Там мальчишки напомаживали себе волосы и причесывались а-ля Рудольфо Валентино. Они умудрялись носить брюки с раструбом книзу. Я же был жестоко лишен этих проявлений элегантности; отец раз в месяц собственноручно стриг мою голову под машинку, уверяя, что благодаря этому я не полысею в тридцать лет.

Сема, Митя и я составляли довольно необычное трио. Сема был мал ростом и слабого телосложения. Митя же, томясь избытком физических сил и энергии, так и норовил проявить на тщедушном однокласснике свое подавляющее превосходство. Бедный Сема подвергался мучительным испытаниям всякий раз, как меня не было поблизости.

Лучший в классе ученик, Сема, хотя и присутствовал на занятиях по закону Божьему, в уроке не участвовал. Сидел, делая вид, что ничего не слышит. Однажды, пользуясь его отсутствием, наш духовный наставник объявил нам двоим, что хоть Сема и славный мальчик, однако не следует забывать, что его предки убили нашего Господа Иисуса Христа, и нам по возможности надо его сторониться и ни в коем случае не ходить к нему в гости, особенно если он, не дай Бог, обрезанный. В этом, настаивал он, нам необходимо убедиться.

Я дружил с Семой, и эти злобные речи привели меня в бешенство.

Константин со своей матерью.
Рига. 1912

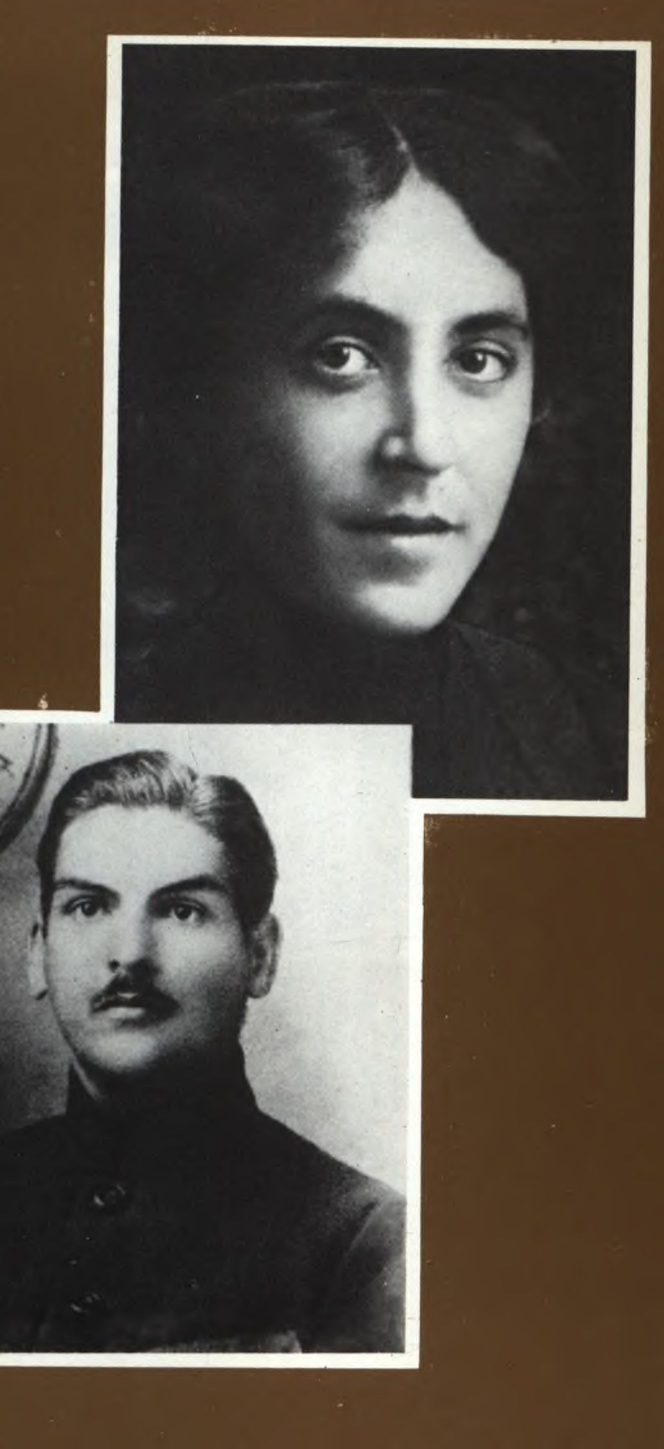
Константин со своими родителями и с родителями матери. 1913

Константин Иванович Клуге. Царское Село, госпиталь. 1915

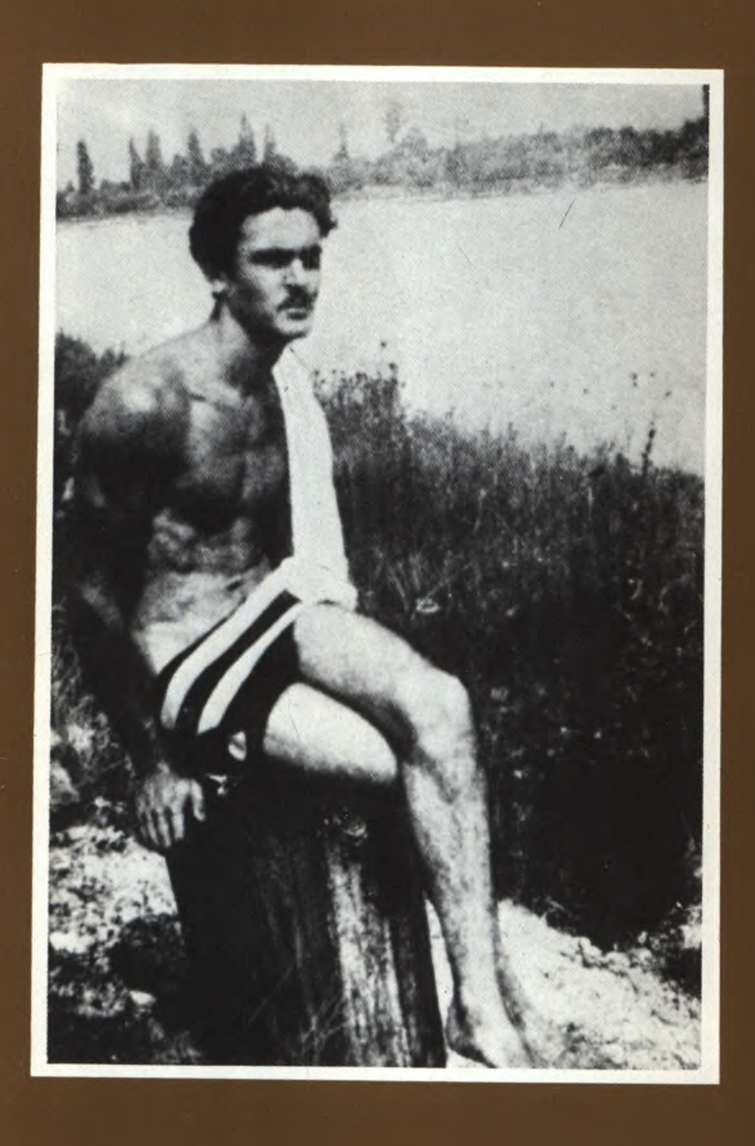
Двоюродные братья Юрий Герман и Константин Клуге. Житомир. 1915

Любовь Константиновна Игнатьева (Клуге). 1910

Константин Иванович Клуге в Маньчжурии. 1922

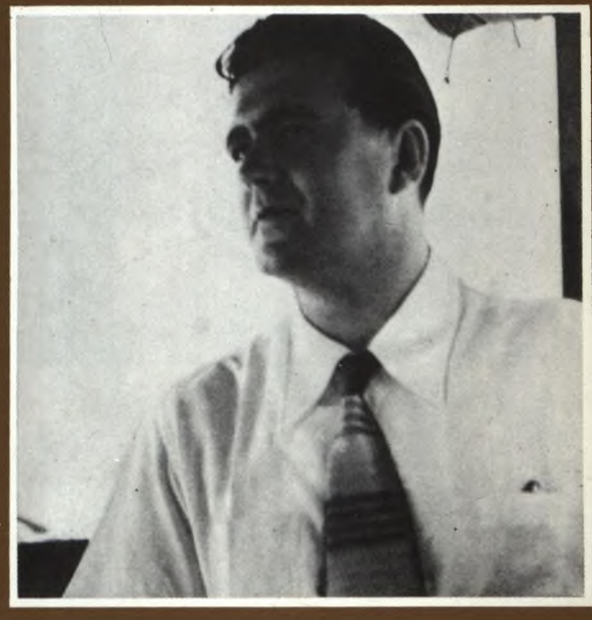


Костя и Миша Клуге с учителем китайского языка Хэ Тземином. Маньчжурия. 1923



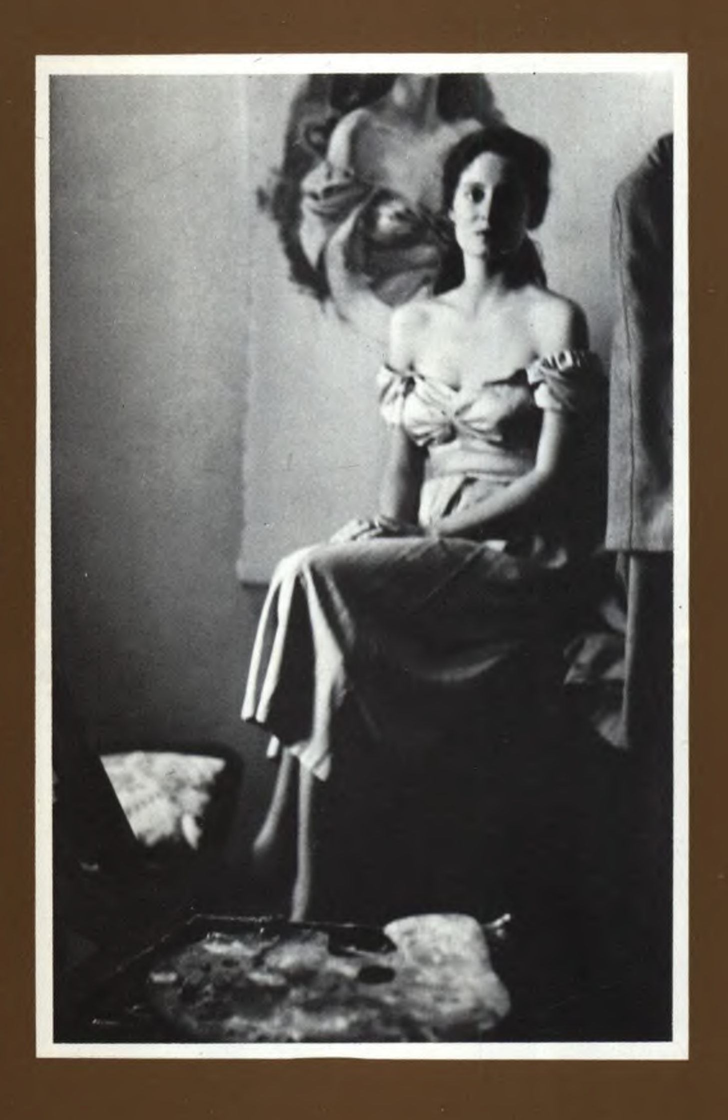
Константин на берегу Рейна. 1933

Татьяна Ильинична Липхарт,
жена Константина. Париж. 1936



Миша Клуге, сын Константина. Гонконг. 1947

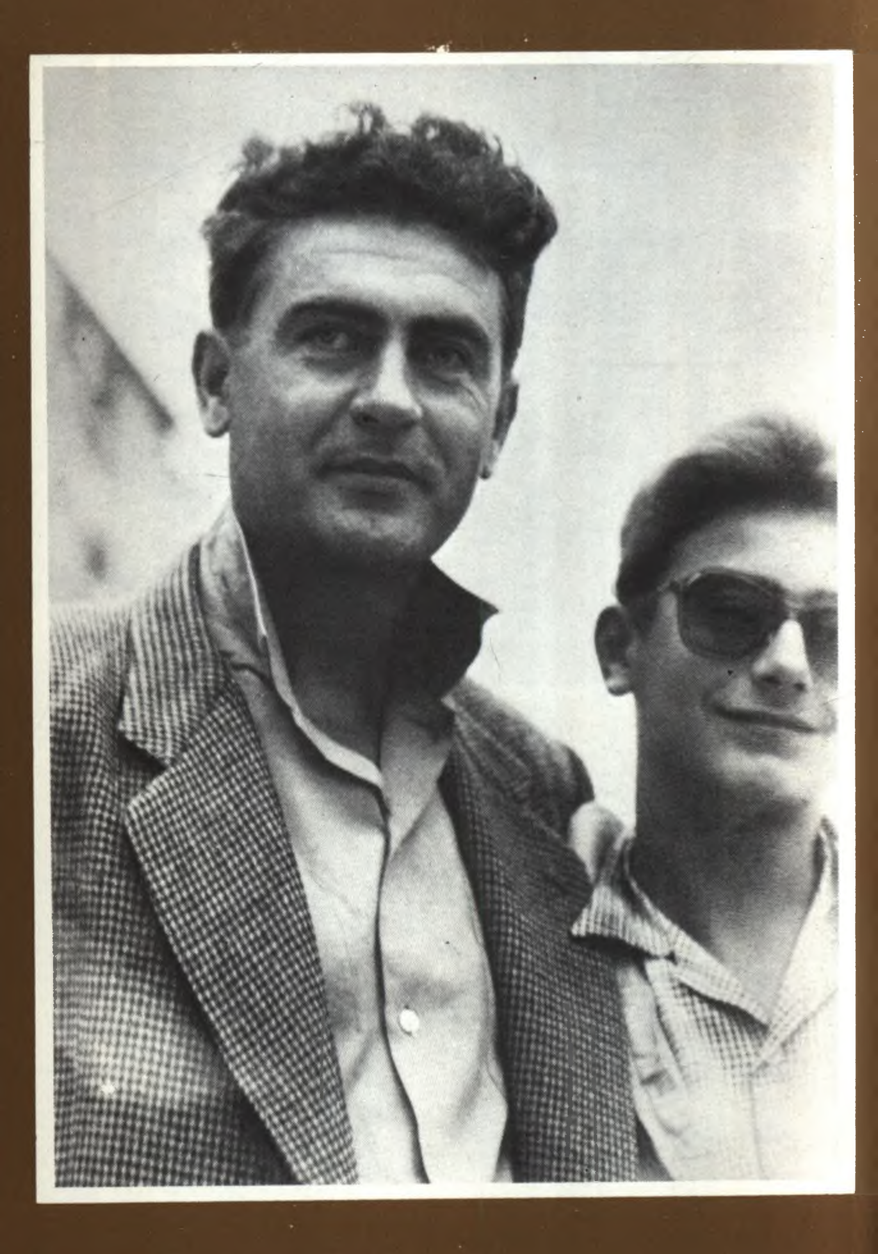
Михаил Константинович Клуге, брат Константина. Гонконг. 1948



Мария Клуге. Сент-Максим. 1957

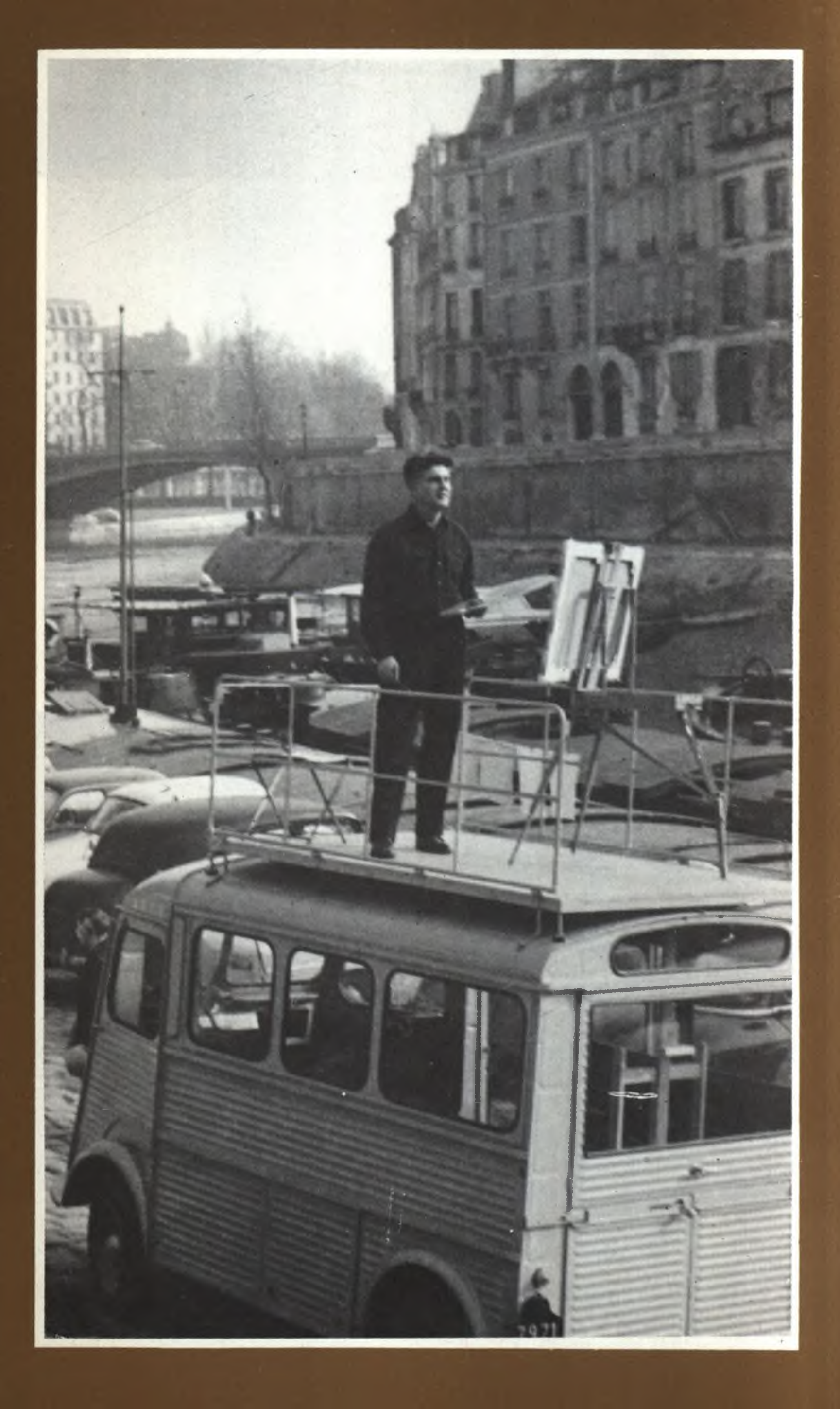
Варвара. Гонконг. 1949

Мария Клуге. Швейцария. 1955



Константин Клуге с сыном Мишей.
Франция. 1955

Константин на этюдах. Париж. 1957



Константин на своей передвижной мастерской. Париж. 1966

Константин Клуге с женой Сюзанной. Нью-Йорк. 1980

Константин Клуге — кавалер ордена Почетного легиона и президент Франции Франсуа Миттеран. Париж. 1990

«Так ведь Христос сам был евреем, и, вероятно, обрезанным! Что же, по-вашему, и от него надо держаться подальше?!»

Покраснев до ушей — это было видно сквозь достигавшую глаз бороду, — наш наставник с желчью принялся предостерегать меня от соблазна сомневаться в том, что признано всеми. «Так как в этом случае ты окажешься, — тут он сильно повысил голос, — не лучше большевика!»

С того дня, видя в нем своего личного врага, я намеренно выводил его из терпения вопросами. С этой целью я перечел Евангелие, обнаружив в нем бесконечные противоречия с тем, что внушал нам наш поп. Он пожаловался отцу, но отец, выслушав меня, не сказал ни слова, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.

С годами положение русских эмигрантов в Маньчжурии становилось все более критическим. Статус нашей Китайской Восточной железной дороги, основанный на договорах императорской России с Китаем, терял всякое значение. Местные китайские власти, не желая обострять отношения с Москвой и в то же время противясь советскому проникновению, предоставили эмигрантам, служившим на «дороге», выбор: принять либо советское, либо китайское гражданство.

Школа, в которой учительствовал папа, принадлежала администрации КВЖД. Не желая ни того, ни другого подданства, отец решил отправиться на поиски пристанища в международный Шанхай. Шесть месяцев спустя, как только он нашел нам место жительства, мы четверо последовали за ним.

В ШАНХАЕ

Мы пришли в уныние, очутившись в полуевропейском жилище, нанятом для нас папой. Оно находилось в квартале, где кроме китайцев жили только русские беженцы. Они прибывали из Маньчжурии ежедневно со второй волной эмигрантов. Как и мы, все они были без денег. Мне кажется, что русские не способны на осмотрительное распределение бюджета. И еще меньше — на сбережение денег. Не вспомню, чтобы в те годы родители не перебивались со дня на день, часто прибегая и к займам. Это не мешало им в свою очередь оказывать материальную помощь нуждавшимся, порой даже поселяя их у себя.

Менее уверенные в скором крахе советской власти и близком возвращении в свои владения, русские эмигранты составляли в Шанхае своеобразную часть населения.

Прочие европейцы и американцы, жившие в роскошных особняках, окруженные бесчисленной прислугой, быстро оценили новоприбывших и отнеслись к ним по-колонизаторски, оплачивая их труд лишь самую малость выше того, что они обычно платили китайцам.

Русские соглашались на любой труд и любые условия.

Наши молодые женщины заполняли дансинги, посещаемые главным образом матросами. Их звали «dancing girls», и, заслуживали они того или нет, на них смотрели как на проституток. Многие из них содержали свои семьи, когда их близкие не находили себе заработка.

За эмигрантами следовало их неизбежное духовенство. На подаяния и без того полунищих соотечественников наши «батюшки» основывали свои церкви. Одна из них, отличавшаяся особым благолепием, находилась при обширном доме богатого эмигранта... генерала.

Будучи начальником кадетского корпуса во Владивостоке, он, когда город окружили красные, приказал сотням юношей защищаться до последнего. Все кадеты были перебиты на баррикадах, в то время как их начальник благополучно отбыл в Шанхай на собственной яхте и здесь в окружении священнослужителей предавался религиозным размышлениям.

Курьезно, что большинство эмигрантов, в прошлом мечтавших о замене монархии иным строем, очутившись в изгнании, превратились в яростных сторонников самого ограниченного национализма, приверженных монархическим традициям. Откуда-то появились портреты и фотографии Николая II, членов его семьи и бесконечное множество икон, среди которых, разумеется, обнаружились и «чудотворные».

Дух реакции овладевал эмиграцией.

«Чем хуже, тем лучше», — твердили наши патриоты. Иными словами, чем больше страдает русский народ, тем скорее он избавится от ненавистной власти. Но шли годы, монархия так и не восстанавливалась, и стал популярен новый лозунг: «Хоть с чертом, но против Советов». Это означало готовность в случае войны быть на стороне противников нашей страны.

Вокруг церквей возникали организации молодежи наподобие бойскаутов. Им внушалась не только ненависть к коммунизму, но и некое чувство неловкости за принадлежность к той же нации, что и большевики.

Вырастая, эти подростки всячески стремились обрести любое иностранное гражданство, лишь бы перестать быть русским. При этом они часто изменяли свою фамилию, а то и имя, чтобы никто не заподозрил их происхождения.

Клубы офицеров гвардии, армии и флота царской России открывались повсюду. Приставки «фон» и «де» появлялись на визитных карточках личностей, ничем не связанных с дворянством. Все детские годы меня окружал этот нездоровый претенциозный дух людей, не способных смириться с тем, что их страной владеют «мужики», а не они — «сливки общества», каковыми они мнили себя.

Разочарованные во всем, многие приняли за хороший тон поощрительно относиться ко всякой мерзости.

Мне было лет десять, когда один из наших посетителей, говоря о взятках, произнес в поучение мне: «Дают — бери, а бьют — беги». К нашему конфузу, вопреки правилам гостеприимства отец схватил гостя за шиворот и вытолкал вон.

Чтобы как-нибудь воспитать нас, полубеспризорных, выросших в жестокую военную пору, отец всячески силился привить нам правила вежливости, желание услужить людям. Не знаю, что́ точно имел он в виду, повторяя: «Никогда не забывайте, что вы культуртрегеры» (то есть носители культуры).

Однажды, проходя мимо меняльной лавки, я увидел, что какая-то женщина уронила монеты и они рассыпались по тротуару. Я бросился поднимать их, но эта особа, наступив на лежавшую передо мной монету, воскликнула: «Не-ет, милый мой, уж больно ты шустр!»

Ω

Мы жили на территории французской концессии, и нас определили в французский колледж. В то время русские дети сотнями поступали в иностранные школы. Поначалу Миша и я оказались в особом классе: учительница-француженка, в прошлом гувернантка в России, пыталась среди невероятного шума внушить нам основы своего языка. Надо думать, что ее метод никуда не годился — она ничему нас не научила.

Но, играя на переменках с французскими ребятами, мы скоро нахватались и слов и выражений и нас перевели в нормальный класс, к маленьким «французятам», значительно моложе нас. Большинство из них сопровождались в школу их «амой», а более состоятельные подкатывали в собственной рикше с блестящими фонарями и разноцветной метелочкой из перьев, торчащей позади седока. В десять лет иные из них не умели зашнуровать себе ботинки. Их восхищение и преклонение перед русскими товарищами, способными на неслыханные проделки, не имели границ.

Первый год в колледже был нелегок. Нелегок из-за постоянного недоедания.

Занимая какое-то неопределенное место в строительной фирме, отец получал мизерный оклад. Так же мало зарабатывала частными уроками и наша мачеха. Все это составляло гроши.

Года два спустя Миша признался, как он страдал морально из-за нашей нищеты и решил во что бы то ни стало преуспеть в жизни.

В школе мы увлекались футболом и атлетикой и сожалели, что плавание не входило в нашу спортивную программу. Нашим развлечением было бродить ватагой по китайским кварталам, всячески вызывая скандалы, крики и брань населения.

Директором колледжа был на редкость энергичный и весьма культурный ветеран войны, потерявший при Вердене правую руку, Шарль Гробуа. Гробуа носил протез, и ребята уважительно поговаривали, что он не остановится перед тем, чтобы трахнуть этим протезом по голове. Никто не был тому свидетелем, но, как всякая легенда, эта молва повторялась из года в год, обретая значение самой действительности.

Каково же было наше удивление, когда на школьном празднике наш директор поднялся на подмостки и под аккомпанемент рояля исполнил на скрипке несколько пьес. Вместо протеза он привинчивал особое приспособление, державшее смычок.

Однажды на уроке пения, когда мы хором разучивали «Марсельезу», Гробуа, войдя в класс, довольно бесцеремонно отстранил учителя и, отбивая такт протезом по столу, сильным тенором запел куплеты национального гимна. Подъем, с которым он пел, мгновенно передался нам, выражая не только бодрый, мужественный характер песни, но и гордость и любовь к своей стране. В порыве объединившего и нас чувства класс с радостью подхватил революционный призыв.

Мы, русские ребята, знали все куплеты «Марсельезы» наизусть, хотя и не понимали в них ни единого слова. С раннего детства мне помнились военные марши и солдатские песни, но ни одна из них не казалась столь воодушевляющей, как эта «Марсельеза».

С французским языком у нас с братом повторилось то же, что и прежде с китайским: мы быстро овладели разговорной речью, не прибегая ни к переводам, ни к словарям. Как малые дети учатся языку родителей, постепенно «догадываясь» о значении слов, так и мы осваивали французскую речь.

К сожалению, язык Пекина, которым мы отлично владели, стирался, уходил из памяти. Шанхайский

диалект был совершенно иной, и мы не пытались его осилить. Только память о кисти из куньей шерсти никогда не оставляла меня. Напитав кисть нужным количеством туши, растертой в аспидной чернильнице, можно было ею покрыть изрядную поверхность, равно как и изобразить в тончайших деталях крылья бабочки.

Кажется невероятным, что китайскому языку не обучали ни в одной иностранной школе Шанхая. Мы не знали абсолютно ничего об истории и географии страны, в которой жили. Как и раньше в Маньчжурии, наше отношение к китайцам было насмешливо-снисходительным, тогда как многие китайцы отлично изъяснялись на иностранных языках и в коммерции преуспевали куда лучше нас, белокожих.

Наши школьные занятия шли успешно — ведь мы повторяли многое из того, чему уже были отлично обучены в Маньчжурии.

Два года спустя, после поступления в колледж, на государственных экзаменах мы с Мишей заняли два первых места из сорока одноклассников. Вновь «перепрыгнув» через класс, я оказался единственным русским среди французских мальчиков и девочек чуть моложе меня.

Вспоминаются наши летние каникулы в шанхайской духоте. По очереди один из нас варил наш ежедневный борщ, а другой водил гулять в городской сад сестренку Любу. После чего мы исчезали на час с шайкой таких же, как мы, босяков из соседних домов. За несколько «копперов» (медяков) мы нанимали ржавый велосипед и, беспрерывно звоня, гоняли на нем по густонаселенным улочкам, вызывая негодование китайцев.

Эти «копперы» мы копили, продавая бутылки и банки из-под керосина. Они позволяли нам изредка ходить в самый дешевый кинематограф. Актеры Дуглас Фербенкс, Лаура Лаплант, Доротея Ламур и Иван Мозжухин особенно сохранились в моей памяти.

В один из воскресных дней отец повел меня в строительную контору, где он работал, чтобы показать, как он там лепил из глины барельефы гирлянд, — отлитые из цемента, они украшали фронтоны над окнами. Мне показалось, что отец ничем не уступал Микеланджело — так выпукло листва аканта переплеталась на его барельефах с листвой дуба.

Но — о чудо! Настал день, когда папа устроился на службу в «Французскую трамвайную компанию». Кроме трамвайного движения это предприятие обеспечивало город водой и электричеством. С того дня отцовский заработок учетверился и наш образ жизни значительно изменился.

Конечно, нам было еще далеко до роскоши, окружавшей моего учителя виолончели, встречавшего меня в своем великолепном халате с кистями, с чашкой ароматного кофе в руке.

Еще за год до нашего переезда в Шанхай мне была подарена скрипка. Нашелся и преподаватель. В прошлом дирижер военного оркестра, этот крохотного роста украинец, по фамилии Вацура, играл на всех инструментах. Его лицо украшали рыжие поникшие усы под таким же отвисшим носом. Он был неоспоримым отцом тринадцати девиц, унаследовавших печальный отцовский нос. Они играли на разных инструментах, образуя целый оркестр, когда, скажем, в Имяньпо появлялся передвижной цирк.

Сей патриарх стал моим первым музыкальным наставником.

Скрипку он называл «зхрыпыцей» и требовал, чтобы я отбивал такт правой ступней: носком, пяткой, направо, налево. Мне не сразу это удавалось: смычок отказывался двигаться вправо, когда носок ноги поворачивал налево.

Отбытие из Маньчжурии на несколько лет прервало мое музыкальное развитие. Но вот как-то учитель русского языка в нашем колледже поставил в школьном спектакле басню Крылова «Квартет». Папа смастерил звериные маски четырем участникам; мне, изображавшему медведя, потребовалась виолончель. Ее одолжил Шевцов, первый виолончелист симфонического оркестра, отец моей соученицы. Он заметил, что, исполняя роль медведя, я пытался извлечь из его инструмента какую-то мелодию. Ему это понравилось, и он предложил давать мне бесплатные уроки.

Упражняясь усердно каждый вечер, я быстро прогрессировал, и, когда спустя время Шевцову был предложен класс виолончели в открывшейся китайской консерватории, я, поступив туда, стал ее единственным иностранным студентом. Мой учитель был уверен, что из меня получится хороший виолончелист, но вдруг,

к его разочарованию, мною овладело нечто совершенно неожиданное: я увлекся двигателями внутреннего сгорания — дизелями. Казалось, отныне ничто иное меня не сможет заинтересовать. С приближением летних каникул я упросил отца устроить меня рабочим на электростанцию, где движимые дизелями огромные альтернаторы вырабатывали ток для нашего города. В то лето в цехе из частей, прибывших из Швейцарии, собирали огромный мотор в 6000 лошадиных сил.

К шанхайскому пеклу добавлялся адский жар от работавших моторов, а шум стоял такой, что не слышно было и собственного голоса. Измазанный отработанным машинным маслом, я пытался быть полезным и трудился с сотней китайских рабочих, полуголых, как и я.

Нами распоряжался угрюмый инженер-швейцарец. Он тыкал рукой в направлении нужного ему инструмента, и, если китаец ошибался, подавал не то, он тем же инструментом трахал недогадливого рабочего куда попало. В конце дня нам выдавали немного масляного мазута, которым мы оттирали налипшую машинную грязь, переставая походить на негров.

Помню, с каким недоумением и даже чувством неловкости мои одноклассники слушали по окончании летних каникул мои рассказы. Смешивать свой пот с потом китайских кули казалось им не только отвратительным, но и крайне унизительным.

У меня зарождались новые взгляды на то, как следует людям относиться друг к другу, независимо от принадлежности к той или иной человеческой категории.

Я обязан своему отцу, внушившему мне нечто совершенно необычное и непринятое: никогда не стыдиться принадлежности к рабочему люду.

Весной двадцать восьмого года мы отправились на север, туда, куда влекли нас мечты, — в Имяньпо. Семья Кекуатовых все еще жила там.

Я возненавидел трехдневное плавание из Шанхая в Дайрен при вечно плохой погоде, в трюме ветхого японского судна, скрипевшего всеми заклепками. Многие пассажиры страдали морской болезнью, сидя и лежа в трюме на соломенных подстилках.

В Дайрене нас, слава Богу, ждал хорошо знакомый нам способ передвижения — поезд. С пересадкой в Харбине мы добрались до нашего Имяньпо.

Наконец-то умеренный климат, сады, утопающие в зелени, цветущая черемуха, и — о чудо! — девочки, которые три года назад были еще детьми, волшебно превратились в красоток девиц!

Но тут речь, понятно, пойдет лишь об одной из них.

Сколько воспоминаний связано с этим летом!

С какой несказанной, сумасшедшей радостью кинулся ко мне забытый мною пес — я ведь бросил его здесь на все эти годы! Одного свиста его неблагодарного хозяина оказалось довольно, чтобы вернуть ему всю былую преданность и нежность.

Не скажу, что объятия встретившей меня бабушки Игнатьевой показались мне исполненными такой же искренности. Старушка в одиночку проделала путь от Архангельска до Маньчжурии с единственной целью — умереть там, где похоронена ее любимая дочь, моя мама. И это несмотря на то, что в России она оставила двух других своих дочерей с их семьями. К папе она отнеслась весьма холодно, давая понять, что осуждает его второй брак.

Как когда-то ее муж, она любила карты, с той, однако, разницей, что, как меня уверяли, ненавидя проигрыш, способна была и передернуть карту. Я долго не мог простить себе, что опрометчиво отдал на время бабушке коробку с полусотней писем от моей мамы, писанных из больницы. Бабушка так и не вернула их мне — она умерла вскоре после нашего возвращения в Шанхай. В свое оправдание скажу лишь, что этим летом все мое внимание и все чувства сосредоточились на одной Ляле.

Мне и теперь кажется, что сирень и жасмин никогда так не благоухали, как в ту весну. И все потому, что я повстречался со своей былой соученицей Лялей Людоговской. Как и мне, ей минуло шестнадцать лет; золотистая блондинка, она была сложена подобно древнегреческой статуе.

Мы стремительно по уши влюбились друг в друга. Ляля (ее настоящее имя было Конкордия) отлично играла на рояле, аккомпанируя моей виолончели. Вселенная стала для нас двоих малозначащим фоном, на котором выделялись лишь наши две особы.

В один из первых вечеров, прощаясь с ней, я, расхрабрившись, притянул ее к себе и поцеловал! Десятилетия не в силах стереть из памяти это мгновение. Той ночью звезды Маньчжурии полыхали ярче, чем когда-либо. Я не бежал домой, — я летел! В ответ на оклик перепуганного часового: «Ший лай?!» («Кто идет?») я прокричал: «Хун-хузе лай!» («Идет разбойник с большой дороги!»). Часовой, вероятно, решил, что это какой-то сумасшедший, и в ту ночь он был, безусловно, прав.

Ляля и я встречались ежедневно, и, если нам удалось воздержаться от того, к чему так немилосердно клонила нас природа, то лишь благодаря нашему воспитанию, связанному со всяческими запретами.

Мы жили в просторном доме Кекуатовых. Кроме родни у них был жилец, постоянно разъезжавший по железнодорожным веткам. Свою кобылу «забайкалку» он отдал в полное мое распоряжение. Едва я выводил ее из конюшни, «забайкалка» брала с места в галоп к дому, где жила Ляля. Там, правда, ее ждал кусок сахара. Прохожие удивленно оборачивались на меня, скачущего без седла, с «бандурой» за спиной — так жители Имяньпо называли мою виолончель.

Но настал день нашего отъезда. Ляле и мне разлука казалась невыносимой. Мы решили считать себя женихом и невестой.

После возвращения в Шанхай у нашей мачехи родился сын. Его назвали в честь святого, изображенного на папином кресте, Георгием. На белом коне он копьем поражает дракона. Мы недолго восторгались прелестным братцем: в два года он внезапно заболел воспалением легких и скончался в три дня.

Несколько месяцев спустя, в начале тридцать первого года, родилась моя вторая сестра, Оля. Мы были уверены, что она — наше небесное утешение.

Прелестный, сердечный характер сестры Ольги и по сей день приносит всем одну лишь радость и окрашивает добром жизнь близких ей людей.

Занятия в школе шли успешно. Все свободное время посвящалось новому моему увлечению — рисованию.

В Шанхае существовал «Арт клуб», куда по вечерам сходились любители рисовать с живой натуры, а не-

которые даже писать красками. Я стал членом этого клуба.

Талантливый русский художник старой школы Подгурский руководил нами, давал советы, критикуя наши рисунки.

В мое первое посещение на эстраде позировал натурщик-китаец, опиравшийся на толстый бамбуковый шест. Я доканчивал мельчайшие детали рисунка, когда за спиной послышался басок Подгурского: «Хорошо... Очень хорошо... Я имею в виду бамбук... Остальное вы пока сотрите, я сейчас подойду к вам и покажу, как надо строить человеческое тело». И он показал систему построения фигуры, разбивая ее на простые геометрические формы, треугольники и трапеции, соразмеряя их и проверяя устойчивость с помощью отвеса. Он объяснил мне, что пространство между согнутой рукой и телом имеет такую же форму, что и сама рука, и рисовать надо одновременно и то и другое. Однако части, составляющие лицо, слишком мелки для измерения и портретист должен как можно больше практиковаться на живой натуре, набивая и глаз и руку, чтобы портрет строился как бы сам по себе.

Подгурский очень плохо знал английский, но благодаря его выразительному кряхтению, гримасам и жестам члены клуба отлично понимали, чего он от них добивался. Я заметил, что, когда он рисовал портрет, его лицо странным образом становилось похожим на лицо модели. Художник таинственно отождествлялся со своим сюжетом.

«Ну а что касается портретов красивых девушек и женщин, — втолковывал он мне, — то они удаются лишь тогда, когда художник неравнодушен к объекту».

Как-то он повел меня к себе в мастерскую, и я был поражен его искусством. Многие большие полотна изображали быт Китая.

Шествовали с горящими свечами в руках буддийские монахи. Пламя снизу освещало монашеские костлявые лики. На другом полотне китаец, сидя на корточках, держал в вытянутой руке клетку с дивной птицей. Потом Подгурский показал мне удивительную сцену: китаец антиквар проводит пальцем в чаше «бычьей крови», стирая в ней пыль. Из полутьмы его лавки едва проступают очертания старинных предметов. фигурок, изваяний.

Более всего поразило меня хитрое, с тончайшей бородкой лицо базарного писаря, державшего свою кисть вертикально, в то время как доверчивый клиент толковал ему о своих невзгодах. Так и казалось, что мудрый писарь не выдержит и скажет: «Говори, говори, а я напишу все это по-своему».

С окончанием колледжа я решил, что мое крепнущее увлечение рисунком и в то же время расположение к математике не оставляют мне лучшего выбора профессии, чем архитектура.

Архитектурное отделение Академии искусств в Париже стало моей мечтой. Единственным препятствием была, увы, стоимость путешествия из Шанхая во Францию. Двадцать фунтов стерлингов в четвертом классе! Я поставил себе целью заработать эту сумму.

К счастью, подвернулось вакантное место виолончелиста в музыкальном трио при китайском кинематографе, где показывали немые американские фильмы. В зависимости от менявшегося действия на экране, висящем у нас над головой, мы играли нечто чувствительное либо, прервав мелодию, переходили на «Кавальеру рустикану» или что-либо другое.

В свободные часы мне доводилось предаваться более серьезной музыке под аккомпанемент отличной пианистки моего возраста Тамары Масловой. Иногда к нам присоединялись двое любителей-скрипачей и альтист из среды русской молодежи.

В те юные годы нас увлекала и русская литература. Особенно то новое, что доходило до нас из России. Нас пленял юмор Михаила Зощенко, и мы забавлялись, употребляя в разговоре его обороты речи с ее колоритными особенностями.

Потребовался год, прежде чем мне удалось отложить деньги, необходимые на путешествие.

Как-то замаячила возможность занять место заболевшего виолончелиста из ансамбля на пароходе дальневосточного маршрута. В ожидании возврата судна из Иокагамы я даже приобрел по случаю необходимый смокинг. Но, увы, виолончелист поправился!

В июне тридцать первого года на французском судне «Портос» я отплыл от шанхайских причалов, оставляя, как тогда казалось, навсегда мою семью и друзей.

В четвертом классе «Портоса» один я представлял белую расу. Это меня ничуть не смущало. В Сайгоне к

нам присоединилась группа солдат. Все они страдали от ран на ногах, натертых казенными сапогами. До призыва под французские знамена они сроду не носили никакой обуви.

На дорогу я получил от брата огромную твердую колбасу и не знал, куда ее надежно спрятать от множества крыс невероятных размеров, населявших трюм.

Пищу давали вполне съедобную, однако нам, пассажирам четвертого класса, приходилось по очереди ходить за ней в недра корабля, на судовую кухню. Придя туда за утренним кофе, я был направлен к большому противню, лежащему в углу на полу. Стюарды из первых классов вытряхивали в него гущу из серебряных кофейников. Плеснув на эту гущу черпак кипятку, один из поваров, с марсельским выговором, употребив трудно переводимое выражение, посоветовал мне «поворачиваться».

Летом Индийский океан подвержен яростным муссонам. Буря не утихала одиннадцать дней, от Сингапура до Красного моря. Наше огромное судно то раскачивало с борта на борт, то бросало как щепку. К счастью, я не страдал морской болезнью, но, чтобы не задыхаться в трюме, поднимался на ночь на нашу палубу и спал там, завернувшись в одеяло. К утру мое одеяло отвердевало от соли с нанесенной ветром водяной пылью. Спал я, однако, как убитый.

Приветливый господин средних лет то и дело спускался к нам из первого класса и заводил со мной дружеские беседы, пока один матрос не посоветовал мне гнать в шею этого педераста. Пришлось спросить у моряка, что он подразумевает под этим словом, — в свои девятнадцать лет я никогда не слыхал о гомосексуализме.

Гонконг, Сайгон, Сингапур, Коломбо, Джибути и Порт-Саид открывались передо мной волшебными видениями.

Во время путешествия я с увлечением рисовал индусов, анамитов и моих приятелей матросов, большею частью корсиканцев. Позже, с отплытием из Джибути бушующее море унялось и вокруг легла зеркальная гладь. Перед закатом я извлекал свою виолончель и среди внимательной аудитории играл, вспоминая всех тех дорогих мне людей, от кого «Портос» удалял меня с каждым днем.

В Красном море я продолжал, уже не завертываясь в одеяло, спать под открытым небом, горящим мириадами звезд.

Каково же было мое удивление, когда, проснувшись на заре, я увидел над собой странных людей с тюрбанами на головах, в широких шароварах, — они залезали на нашу палубу по мачтам своих лодок, держа в зубах корзину с товарами! Придя в себя, я понял, что мы стоим на рейде Порт-Саида, — можно было вообразить, что «Портос» подвергся абордажу средневековых пиратов. Они перешагивали через меня и помогали друг другу карабкаться на наше судно.

Один из них привлек к себе мое внимание, поманив меня за лебедку. Там, оглядевшись с опаской по сторонам, он извлек из штанов золотой перстень с огромным бриллиантом, запросив за него целый фунт стерлингов! Вне сомнения, мне предлагалась ворованная драгоценность. Разом забыв все отцовские наставления, я сделался владельцем перстня.

Любуясь сверкающим на африканском солнце камнем, я заметил моего ювелира, заманившего другого пассажира и с теми же предосторожностями показывающего ему точную копию моего кольца!

Мне сделалось грустно, и я раздумывал о низости человеческой натуры, когда какой-то фокусник араб, галдя «гала-гала», возник передо мной и извлек у меня из кармана живого цыпленка.

Убедившись, что его проделки меня не веселят, он протянул мне еще один экземпляр того же перстня, да с таким взрывом хохота, что рассмешил и меня: махнув рукой на свою оплошность, я решил, однако, впредь остерегаться таких искушений.

ВО ФРАНЦИИ

Высадившись в Марселе тринадцатого июля, я был поражен царившим вокруг меня разгулом. Припомнились отцовские напутственные речи об ожидавших меня во Франции соблазнах. Больше всего, предостерегал меня родитель, следовало опасаться женщин и вина! А тут я был свидетелем явного разврата: за вынесенными из кафе на тротуар столиками располагались развязные, шумные компании; под звуки гармошки танцевали парочки самым бесстыдным манером — мужчины приглашали проходящих, случайных женщин.

Вечером я сел в поезд и наутро четырнадцатого прибыл в Париж. К удивлению, я и здесь застал приготовления к ночному веселью, которое счел было за портовую особенность Марселя. Оказалось, что французы так празднуют день взятия Бастилии. Когда же закончились народные празднества, Париж предстал передо мной во всей своей прелести. Поселившись в дешевой гостинице Латинского квартала, я с утра до ночи бродил по городу, шел куда глаза глядят. И им было на что глядеть!

Увы, мое очарование было внезапно прервано появлением старшей сестры моей матери, тети Оли. Узнав о моем приезде во Францию, она примчалась из Эстонии, где жила со своим мужем. Властная, не допускавшая никаких возражений тетка настояла на немедленном моем переезде в Эльзас, к ее брату, моему дяде, Сергею Игнатьеву.

Дядя с женой занимали крохотный домик, стоявший в нескольких шагах от Рейна, в том географическом пункте, где сходились границы Франции, Германии и Швейцарии. До Базеля пять километров, а чтобы попасть в Германию, стоило лишь перейти через плотину, над постройкой которой и работал мой дядюшка. Параллельно Рейну прокладывался десятикилометровый канал, ведущий к мощной строившейся гидроэлектростанции. Между каналом и Рейном образовался узкий

остров — убежище бессчетного количества дичи. Ее там никто не беспокоил. Все это строительство, рассчитанное еще лет на пять, велось французами и немцами совместно и оплачивалось Германией в счет военных репараций.

Не случись Гитлера, постройка таких электростанций с прокладкой каналов повелась бы до самого Страсбурга. Электроэнергии хватило бы на нужды всей Франции. Но с тридцать пятого года нацистское бряцание оружием остановило эти мирные проекты.

Однажды я отправился навестить своих немецких партнеров по теннису в их конторе по ту сторону Рейна.

В ознаменование нашей встречи они решили угостить меня своим баварским пивом. Кликнули по телефону официантку, и через несколько минут она принесла двухлитровый фаянсовый ковш и поставила его передо мной. Я ждал появления таких же сосудов хозяевам, но их не несли. Решив, что немцы хотят испытать мою способность поглощать их пиво, я не торопясь осушил всю посудину.

В тот вечер дядя как-то иронически посматривал на меня и наконец, посмеиваясь, рассказал, как я лишил его коллег отличного пива, на которое они рассчитывали. Оказалось, обычай требовал, чтобы, сделав пару глотков, я пустил ковш по кругу. Словом, уверял дядя Сергей, немчура была сильно раздосадована.

На следующий день я снова отправился на правый берег искупать свою оплошность. По пути в контору я заглянул в пивную и заказал по такой же порции пива себе и немцам. Появление тяжеленного подноса с «баварским» вызвало всеобщее ликование. Веселая болтовня и возгласы росли с каждой минутой. На шум явился сам герр директор и, узнав причину веселья, заказал еще по такой же порции для всех.

Меня изрядно пошатывало, когда я шел к себе по мостику над плотиной.

Рейн, с его стремнинами и порогами, напоминал мне мою маньчжурскую Майхэ. Кроме меня, никто в окрестностях не решался его переплывать. Меня же влекла к себе стремнина с водоворотами и порогами.

Пессимистически настроенная тетя всякий раз не надеялась увидеть меня живым.

Кроме меня этим летом у дяди Сережи гостили бывший его однополчанин, «шоферивший» в Париже, и его

подруга, миловидная жгучая брюнетка двадцати пяти лет.

Поведение старого вояки скоро показалось мне сомнительным. Он буквально навязывал мне свою Мадлен. Было ли это попыткой испытать ее верность, мне так и не удалось установить. Он уламывал меня учить Мадлен плавать, просил показывать ей, как я проявляю свои фотографии в темном чулане при слабом красном свете. Длинные волосы молодой француженки волнующе щекотали мое голое плечо.

На исходе лета, возвращаясь в Париж, он предложил отвезти и меня в своем такси, усадив нас на заднее сиденье.

В Париже мне прежде всего надо было найти себе жилье, но мой благодетель не желал об этом и слышать, уговаривая меня пожить у них хоть пару дней.

Он работал ночью, оставив нас одних. Полоска света под дверью Мадлен всю ночь будоражила и манила меня. Я понимал, что ее горящая лампа означала зов, приглашение. Но мучительное сознание, что я злоупотреблю доверчивостью пожилого человека, сдерживало мои порывы.

Заснув под утро, я был грубо разбужен вернувшимся хозяином. Он был неузнаваем. Со свирепым видом, с пеной у рта он обвинил меня и Мадлен в том, в чем мы не были повинны, и требовал, чтобы я немедленно убирался вон. Меня это так поразило, что я и не пытался оправдываться. А Мадлен, сидя тут же в кресле, с беспечной улыбкой пришивала пуговицу к моей рубашке. Улучив момент, она сунула мне адрес отеля, и в тот же вечер мы оказались вместе. Вскоре она покинула своего таксиста и наняла маленькую квартиру. Я же поселился поблизости, в скромной гостинице, но ночевал у Мадлен.

Наша связь длилась несколько месяцев. За ней последовали иные встречи и временные увлечения, но они не оставили о себе особых воспоминаний. Я был тогда поглощен студенческой жизнью, увлекательной и весьма нелегкой.

Академия, или Школа Искусств (Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Art), в те тридцатые годы была жертвой чрезмерной приверженности традициям ми-

нувших десятилетий, а то и веков. Большинство профессоров принадлежало к поколению, так и не освоившему широкое употребление железобетона — материала, коренным образом изменившего возможности архитектуры. Увенчанные призами и наградами, эти зодчие начала века упорно сопротивлялись современной концепции строительства, всячески силясь навязать нам отжившие формы.

Студенты же, считая себя новаторами, хоть и противились как могли давлению мэтров, сами упрямо придерживались собственных, переходящих из поколения в поколение традиций.

Архитектурная секция Академии состояла из двенадцати студий — ателье, возглавляемых каждая своим патроном. Он появлялся два раза в неделю и обсуждал наши работы.

Поступивший в студию оставался новичком в течение трех лет! Все это бесконечное время он подвергался постоянным издевательствам «стариков». Трудно вообразить, до чего только не додумывались старшие, чтобы унизить новичков.

Противно описывать их «цуканья», тем более что они часто были связаны с половыми извращениями. Мне пришлось крепко дать понять своим «старикам», что я наотрез отказываюсь потакать их выдумкам. На специальном совете было решено, что, как выходец из России и Китая, я не в состоянии оценить тонкости их юмора, и, как исключение, меня оставили в относительном покое.

Рассказывали, что нравы наших предшественников отличались еще большей грубостью. После войны уцелевшие, вернувшиеся из траншей заканчивать академию «старики», случалось, так безжалостно поступали с молодежью, что иные их «шутки» не раз стоили новичкам жизни. Что же касается конца прошлого века, то, как об этом свидетельствовал хранимый как реликвия фотографический альбом, наши предтечи творили свои архитектурные проекты не столько в студии, сколько перебравшись, на манер Тулуз-Лотрека, в публичный дом. В этом альбоме мелькали бородатые студенты в цилиндрах и в жилетках, занятые никак не архитектурой.

Я был возмущен этой атмосферой. Мне объяснили, что благодаря такой дрессировке маменькины сынки

перековываются в настоящих мужчин. Не будучи особенно изнеженным в детстве, я не испытывал необходимости в перевоспитании своего характера.

Отвратительны были даже не так сами развратные ухищрения старших, как лицемерие, с которым новички старались подыграть им, делая вид, что эти пакости развлекают и их самих. В этом проявлялось то, что у нас называлось «духом студии». Некоторые, редкие правда, студенты никак не могли примириться с этим «духом». Помню одного такого упрямца, сдавшего дипломную работу, но так и не выбившегося из новичков.

Поступив в студию, я принялся за подготовку к вступительному конкурсу в Академию. В те времена конкурс был исключительно трудным. Каждые полгода в Академию принималось всего пятьдесят студентов, а кандидатов бывало до восьмисот. Мне этот конкурс представлялся тем более трудным, что большинство конкурентов были сыновьями архитекторов, знавшими кое-что о строительстве.

После двух неудачных попыток мне удалось получить минимальный балл за архитектурный эскиз. С такой низкой отметкой считалось невозможным преуспеть на конкурсе. Однако и эта отметка давала право перейти к следующему испытанию — к рисунку углем с гипсовой статуи. Вот когда мудрые наставления моего шанхайского профессора Подгурского сыграли свою решающую роль. На этом испытании еще оставалось около четырехсот абитуриентов. Я оказался первым с очень высоким баллом. Этот успех позволил мне перейти на экзамен по математике. А уж тут у меня не могло быть осечек. Ко всему прочему весь минувший год я давал уроки по всяким разделам математики своим отстававшим товарищам.

Итак, я был принят в Академию! Друзья посмеивались, говоря, что мне следовало бы записаться в секцию художеств, а не архитектуры или, того хуже, поступить в такие презренные училища, как Центральная школа или Политехническая школа, в которых преобладала математика. Они были уверены, что никакие премудрости не могут сравниться с их гениальным творчеством.

Как бы то ни было, архитектура все больше завладевала моим воображением. Наблюдая, как старшие товарищи разрабатывали свои проекты, я загорался же-

лианием осуществлять, пока хотя бы на бумаге, нечто рациональное, полезное и одновременно высокоэстетическое.

Мы упорно сопротивлялись отжившим концепциям седовласых профессоров, судивших наши проекты.

В начале тридцатых годов самые дерзкие замыслы современного строительства доходили до нас из Советского Союза в виде журнала с репродукциями чертежей, схем и проектов, поражающих своей новизной.

Увы, очень скоро эти искания были пресечены властителем судеб и архитектура в России приняла небывалые, «неоассирийские» формы.

Поступив в Академию, я перешел в другую студию. Благодаря присутствию в ней нескольких студенток нравы были там совсем иные и мне, хоть и новичку, никто не мешал работать. К тому же патроном студии был талантливый архитектор средних лет, сторонник современной голландской архитектуры.

Наша парижская Академия отличалась от архитектурных школ других стран особой склонностью к критике. Нам не приходило в голову довольствоваться, как это практиковалось у иностранцев, первым попавшимся решением заданной программы. До самого конца, то есть все те недели, которыми мы располагали, мы беспрестанно изменяли и совершенствовали проекты. Сотни листов кальки накладывались на стопы прежних набросков в поисках наилучшего решения. Бумажные скатерти ресторанов покрывались схемами наших измышлений. Пол в студии был по щиколотку покрыт использованной калькой.

Внимание обращалось почти исключительно на разработку плана. Считалось, что при рационально задуманном плане фасады сами собой получаются гармоничными.

В течение двух отпущенных на проект месяцев днем и ночью нас преследовала мысль о возможности улучшения нашей схемы. Такое предельно критическое отношение к намеченному труду, к цели становилось основой и в иных жизненных путях и исканиях.

Как-то наш патрон посоветовал мне внести некоторые важные изменения в мой проект. Я настаивал на своем, заявив ему, что вообще-то это вопрос вкуса.

«Вкусов-то не так уж много, — ответил профессор. — Я слыхал лишь о двух: хороший и дурной».

Сдав все экзамены и зачеты, я принялся за дипломный проект. Мне не терпелось вернуться в Китай, и мой проект, исполненный наспех, не отличался большой оригинальностью. Однако он был принят и в ноябре тридцать седьмого года я стал «архитектором, дипломированным правительством».

Если не считать моего первого года, до того как я перешел в другую студию, воспоминания студенческих лет встают в памяти в самых радужных красках.

Доброе товарищество, тесная дружба связывали нас всех. Между нами не возникало и малейших ссор. Проявления зависти были немыслимы.

Разговоры на политические темы строжайше воспрещались. Случайно обмолвившегося хоть словом гнали покупать выпивку для всех присутствовавших. Таков был штраф.

Изучение всевозможных вариантов проекта затягивалось до крайнего срока, не оставляя достаточного времени для воплощения — в надлежащих планах, фасадах и разрезах — всего того, что зрело и родилось в нашем воображении.

Последнюю неделю перед сдачей проекта мы работали день и ночь, почти без сна. Но когда и этого оказывалось недостаточно, на помощь приходили товарищи, не считаясь ни со сном, ни со своей собственной работой. Их называли «неграми», «хозяин» должен был всячески веселить их и поставлять сигареты, не давать им заснуть над чертежами. С этой целью он то и дело хватал печную кочергу и водил ею по арфе разбитого пианино, стоявшего в углу студии, или будил одновременно и всех соседей, трубя в охотничий рог, висевший среди других реликвий.

В шесть утра, оставив открытыми окна студии, сильно нуждавшейся в проветривании, мы отправлялись в ближайшее бистро накачаться черным кофе.

Сколько мне помнится, я был единственным некурящим среди сотни товарищей, и ночи над чертежами встают в памяти в густой синеве пастельных тонов. В эти ночи я мечтал о свежести берегов Рейна у дядюшки в Эльзасе.

Труднее всего было бороться со сном. К счастью, у одного из товарищей обнаружился обширный репертуар сентиментальных песенок особого, мещанского пошиба. Попев нам, он выходил во двор студии, а то

и на улицу и громко, с акцентом парижских предместий, блеющим голосом распевал:

«Вспомни наши клятвы любви,
Вспомни наши первые ласки».

Открывались окна, и медяки падали на булыжники мостовой. Тогда, прерывая чувствительную фразу, наш певец благодарил «этих господ-дам» за их доброту и продолжал:

«Вернись в мою бедную комнатку,
Где мы так нежно любили друг друга».

В конце июня Академией устраивался традиционный бал Четырех Искусств. (Столетия назад четвертым искусством была музыка.) Я не имел представления о ритуале этого бала. Мне, новичку, лишь объяснили, что я должен привести с собой хорошо воспитанную девушку, как можно красивее. В то время я был знаком с семьей русских. Их хорошенькая дочь Надя согласилась отправиться со мной на этот бал. В тот год темой бала был Египет, участникам полагалось походить на египтян. По наброскам, сделанным мною в библиотеке Академии, Наде сшили из какой-то прозрачной ткани тунику, под которой угадывались лифчик и штанишки из парчи.

Сбор трубили у нас в ателье. Я был удивлен поведением девиц — спутниц моих товарищей. Не слишком выбирая выражения, они, ничуть не конфузясь, запросто раздевались догола на глазах у всех. К счастью, Надя отнеслась к этому хладнокровно.

Придя на бал, мы поразились открывшимся зрелищем. По кругу обширного зала расположились «ложи» архитекторов, художников и скульпторов. Фасады этих «лож» в два-три этажа изображали нечто «египетское». Нижний этаж был заставлен ящиками с шампанским и закуской. Опасаясь ранений разбитым стеклом, пили прямо из бутылок. Зал освещали только факелы. Кроме дежурного пожарника все были костюмированы, точнее, более или менее голые.

На мне, как и на моих товарищах, набедренная повязка, каска и сандалии. Лицо и тело покрыты краской шоколадного колера.

Под звуки духового оркестра (в таких же нарядах), исполнявшего марш из «Аиды» и тому подобное, при-

суждались призы за лучший костюм, лучшую «ложу», а позже и за лучшую голую фигуру.

Стояла духота, жара. Моя подруга, сбросив одеяние, предстала перед публикой, покоряя прелестной фигуркой, поблескивая лифчиком и штанишками. Сопровождая ее в таком виде по залу, мне пришлось защищать свою Надю от грубых притязаний бесцеремонной молодежи. Осушая бутылки ящик за ящиком, «египтяне» все больше распалялись, и к двум часам утра я решил увести Надю подальше от греха, к ее родителям.

Какой великолепной открылась нам парижская летняя ночь, когда после кромешного ада Четырех Искусств мы шли пешком через город!

Попрощавшись с Надей, я пошел к стоянке таксистов. Первый попавшийся пожилой дядя читал «Возрождение». Обратясь к нему по-русски, я назвал ему свой адрес. «Царица небесная! — возопил шофер. — И чем только наш брат не занимается, чтобы заработать на кусок хлеба!» Я не стал его разубеждать и послушно сел на его газетку, чтобы не испачкать сиденье.

Год спустя темой бала избрали Пленение иудеев в Вавилоне. Наученный опытом, я отправился на бал один. Из-за моего роста меня назначили в «черную гвардию». Это значило, что, вымазанный с ног до головы черной краской, я с тридцатью другими парнями должен был по мере возможности поддерживать некоторый порядок в зале.

Между девятью и одиннадцатью мы должны были «фильтровать» публику, не допуская посторонних, не студентов Школы. С этой целью приходящим задавались вопросы, на которые могли ответить лишь подлинные студенты. Прочих же «черная гвардия» вышвыривала на улицу, содрав с них маскарадную одежду и разлучив с дамами, — дам мы без церемоний сопровождали в зал.

Несколько посторонних были, однако, допущены на бал. Такая привилегия обходилась им в сумму, равную моему годовому бюджету. В большинстве то были американцы, специально приезжавшие во Францию из-за нашего бала. Им на шею вешалась дощечка из меди. Благодаря их долларам мы располагали неограниченным количеством лучшего шампанского.

Нам же, «черногвардейцам», надлежало без устали выпроваживать отчаянно сопротивлявшихся лжестуден-

тов. Двухчасовая борьба выбила меня из сил и вызвала неутолимую жажду. Вернувшись в зал, я принялся утолять ее, опустошая бутылку за бутылкой. Улегшись на пол перед нашей ложей, я тут же заснул непробудным сном. Проснулся я лишь утром оттого, что меня поливали ледяным вином. Бал был окончен.

Шествуя за гремящим оркестром, тоже далеко не трезвым, мы спускались по Елисейским Полям к площади Конкорд, где, как требовала традиция, купались в бассейнах фонтанов.

Смыв часть своей краски, мы двигались дальше, на левый берег Сены, к публичным банями и душам.

По дороге нам встречались спешившие на службу парижане. Они с явным презрением оглядывали нас, потерявших всякое сходство с ассирийцами. «Никчемная дрянь», — говорили их взгляды.

В ЭЛЬЗАСЕ

Лето за летом я проводил свои каникулы в Эльзасе. Только после первого лета я уже не отдавался одному лишь спорту, а нанимался рабочим в различные артели строящейся плотины. Так, в должности плотника я с утра до ночи забивал гвозди, сколачивая формы для бетона. Большую часть заработанных денег я откладывал на зиму.

Вернувшись в Париж и прогуливаясь по ярмарке, я оказался у стенда, где предлагалось забить в бревно огромный гвоздь в три удара молотка. Не задумываясь я вколотил его не в три, а в два удара, выиграв куклу, колбасу и бутылку вина. Однако вторично меня к бревну не допустили. Мне было сказано, что этот аттракцион не для профессионалов.

Следующим летом, желая заработать побольше, я попросил дядю Сережу порекомендовать меня на работу в кессонных камерах. Спуском кессонов руководил подрядчик-итальянец. Кессон погружался в доннный грунт до сорока метров ниже уровня реки. Этот тяжелый труд оплачивался вдвое против любого другого, — несмотря на это, подрядчик с трудом находил достаточно охотников.

Дядя уверял меня, что я не выдержу и дня, но согласился поговорить с итальянцем, заметив, что мне будет полезно взглянуть на то, как кое-кто добывает свой хлеб в поте лица.

И верно, еще до конца десятичасовой смены я был готов бросить лопату. Но после обильного ужина и богатырского сна я снова отправился в кессон.

Чтобы его не наполнила вода, в кессон беспрестанно накачивался сжатый воздух.

Внутри артель рабочих кирками и лопатами рыла и долбила грунт, наполняя им большую бадью. Она вытаскивалась по трубе наверх, в то время как другая, опорожненная, спускалась в кессон. Кессон медленно вгрызался в дно реки, а поверх него ложились, отвердевая,

сотни кубических метров бетона. Давление воздуха повышалось по мере того, как кессон углублялся.

Бадья за бадьей, полные глиной и галькой, поднимались по овальной трубе в так называемый «шляйс», что-то вроде железной бочки метра в два диаметром и такой же высоты. На крыше «шляйса» работал электромотор подъемной лебедки. К «шляйсу» вела снаружи плоская камера с двумя «присасывающимися» дверьми. Через нее — мы ее звали «фромажем», то есть сыром, — впускали и выпускали одновременно по нескольку рабочих.

Я оказался высоковат для кессона, и меня перевели в «шляйс». Там кроме меня трудился пожилой эльзасец. Один из нас управлял мотором лебедки. Затем, качнув поднятую из трубы бадью, рывком переворачивал, опорожнял ее. Содержимое бадьи вываливалось в один из двух «рукавов», ведущих наружу. Нагруженная бадья весила с полтонны, и если часть слипшегося на дне бадьи грунта задерживалась в ней, то надо было из последних сил во что бы то ни стало опрокинуть ее вверх дном и вывалить застрявший в ней грунт.

Как только «рукав» был наполнен, мой напарник завинчивал на нем крышку и подавал наружным рабочим сигналы условными ударами железкой по заклепкам «шляйса».

Изредка снизу доносился лишь один звучный глагол на эльзасском наречии, обозначавший, что кому-то из кессонщиков необходимо уединиться. Работа прерывалась, виновник забирался к нам в «шляйс» по лестнице, надвое делившей овальную трубу, и один из нас выпускал его наружу. Для этого, запершись в «фромаже», надлежало медленно выпустить из него сжатый воздух и отдраить наружную дверь.

Шли минуты блаженства: сидя на пороге «фромажа», под открытым небом, можно было вдыхать летний воздух!

Но минуты эти были скоротечны. Обратными маневрами рабочий вновь водворялся в кессон.

Такие задержки работы неизменно вызывали взрыв неистового гнева нашего шефа. Эльзасскую ругань он обогащал кощунственными проклятиями по адресу девы Марии: «Порка мадонна! Порка мадонна»! — вопил итальянец.

Изменения давления то и дело вызывали невыноси-

мую боль у рабочих, чаще всего в коленях или локтях. Боль возникала лишь после выхода из кессона.

Кричащего от боли как можно скорее волокли к плотине, там его ждала специальная «медицинская цистерна» — в ее сжатом воздухе мучительные боли утихали. Со мной такое случилось лишь однажды. К счастью, дядин дом стоял в ста шагах от спасительной цистерны и я смог до него добраться самостоятельно.

Каждые две недели наша дневная артель сменялась ночной и нам выпадали сутки отдыха. Но две недели спустя приходилось работать подряд и день и ночь. Это было выше сил человеческих. Мы рисковали свалиться в отверстие трубы, так нас клонила в сон предельная усталость. Но мы исхитрялись по очереди поспать четверть часа в «фромаже», сунув под голову мешок с опилками. В такие блаженные для провалившегося в сон минуты напарнику приходилось управляться в одиночку, ритм работы замедлялся и неусыпный подрядчик, догадавшись о нашей хитрости, начинал что есть силы барабанить по «шляйсу». Но гневные понукания итальянца не могли прервать минуты мертвого сна.

Время от времени подрядчик, желая ускорить углубление кессона, приказывал подрыть траншею под ножом кессона и, оставив лишь четыре опоры, взорвать их одновременно динамитом. В ожидании взрыва рабочие спасались либо у нас в «шляйсе», либо на лестнице в трубе.

От внезапного падения кессона на тридцать-сорок сантиметров давление в нем повышалось разом, так что большинство кессонщиков на несколько секунд теряли сознание. Я же всякий раз ощущал нечто подобное сильному удару по лбу.

В двадцатиминутный полуденный или полуночный перерыв мы там же съедали припасенные бутерброды.

Флегматичному эльзасцу, моему напарнику, было лет сорок. От постоянных усилий у него развилась диковинная мускулатура рук и плеч. Перекрывая шум лебедки, нам удавалось обмениваться воспоминаниями и планами на будущее. Он работал «в давлении» вот уже три года и надеялся вытянуть до конца постройки плотины. По окончании он рассчитывал вернуться на свою ферму с накопленными сбережениями, но увы, и с непоправимым ущербом, нанесенным организму нечеловеческими условиями труда.

Этот работяга был мне очень симпатичен, особенно когда, улыбаясь разом всеми морщинами лица, он сворачивал себе самокрутку или с поразительной точностью плевал в дальний от него «рукав».

Вопреки пессимистическим предсказаниям дядюшки я продержался в кессоне все лето, покуда меня не скрутил острый приступ аппендицита. Меня оперировали в городе Мюлузе за счет больничной кассы строительства.

В те годы на другом конце нашего континента, в Шанхае, французскими властями была основана школа для русских детей с программой на французском языке. Мой брат поступил учителем математики, а нашей мачехе был поручен секретариат.

Кроме семьи Германов мы оставили в России стариков, родителей отца.

Дед изредка писал нам в Шанхай. Его готическое начертание букв и построение фразы с глаголом на конце выдавали его немецкое происхождение. Он писал, что ему с женой и с замужней дочерью разрешили жить в одной комнате огромного, принадлежавшего ему до революции дома. Он работал бухгалтером у своего зятя, горного инженера.

В тридцать первом году, узнав от отца о моем отъезде в Париж, он написал, что никогда не бывал во Франции, этим предупреждая нас, чтобы в наших письмах мы не упоминали о его студенческих годах в Шампани. В его письмах нередко встречались подобные зашифрованные просьбы. Их приходилось читать между строк.

В тридцать пятом году он написал папе лишь несколько слов, сообщая, что переезжает с семьей на «новое местожительство» и просит не писать, пока он не сообщит свой адрес. Это было все. На этом прервались письма от деда...

ТАНЯ

Случалось, по воскресеньям я заглядывал на танцульки в залах одной из двадцати мэрий Парижа.

Вдоль стен в два ряда были расставлены мягкие, покрытые бордовым бархатом скамьи. Впереди сидели разодетые девицы, ожидавшие приглашения на танец, а за спиной каждой — мать или тетка, блюстительница благочестия, она же и опытная советчица.

Потанцевав с дочерью мясника или кондитера, кавалер, бывало, увлекал ее в буфет, а там, за стаканом вина, сманивал в кино.

Но однажды судьба привела меня на вечеринку совсем другого характера, устроенную русскими, называвшими себя младороссами.

Скользя взглядом по танцующей толпе, я увидел пару прелестных глаз на типично русском лице, выглядывавшем из-за плеча танцора. Чуть вздернутый носик, ладная, на редкость грациозная фигура, но главное — веселые миндалевидные глаза приковали мое внимание. Эти серые глаза, как я тотчас же убедился, не упускали и меня из виду. Разумеется, я не замедлил пригласить на следующий, а за ним и на все остальные танцы обладательницу этих глаз. Её звали Таней Липхарт. Тут же находилась ее мама, и я был ей представлен.

Провожая домой своих новых знакомых, я узнал, что отец Тани, Илья Оскарович, до революции — капитан первого ранга русского военного флота, в данное время болел и не мог продолжать работать.

У Тани было два брата, ненамного старше ее. Во все это и многое другое меня посвятили Таня и ее мать, пока мы шли по улицам спящего Парижа.

Воспользовавшись приглашением, я появился у Липхартов на следующий же день.

Отец Тани принял меня с явной неприязнью. Едва за шестьдесят, худой как скелет, он выглядел глубоким стариком. А его жена, Елена Георгиевна, моложе мужа лет на двадцать, цветущего вида, могла сойти за его

дочь. Позже я узнал, что старый барон безумно ревнив: его отношение ко мне сделалось вполне дружественным, лишь когда мое увлечение Таней, а не его женой не стало вызывать у него никаких сомнений.

Таня была центром семьи. На редкость энергичная, веселая, она ведала кухней, держала в безупречной чистоте квартиру, делала покупки и, главное, распоряжалась их крайне скромным бюджетом.

Едва ли не каждый день, после курсов балета, где я ее дожидался, Таня заходила ко мне...

Отца Тани хорошо знали военные моряки Парижа. Еще в начале русско-японской войны ему поручили транспортировку наших подводных лодок из Балтики во Владивосток. Их в разобранном виде везли по железной дороге. Когда же лодки были перевезены, собраны и спущены в воды Японского моря, война была окончена. Илье Оскаровичу поручили командование крейсером.

Вернувшись однажды из плавания, он узнал, что его жена, дама высшего круга, находится в театре в обществе морского офицера. Ворвавшись в театр, он повел стрельбу из пистолета по ложе, где сидела его жена, и ранил служанку. Дело замяли, но его супруга сочла благоразумным потребовать развод.

Тогда Илья Оскарович женился вторично. На этот раз он выбрал в жены пятнадцатилетнюю хорошенькую хохлушку, не имевшую ничего общего с аристократическим кругом Дальнего Востока. Она относилась к знатному мужу с глубоким почтением и преданностью. Пребывая под постоянным наблюдением своей матери, молодуха родила барону двух сыновей — погодков, а в 1913 году — дочь Татьяну. Крестным девочки был морской офицер Римский-Корсаков, сын композитора.

В начале германской войны фон Липхарта перевели в Одессу, откуда он руководил военными транспортами черноморского флота.

Революция выбросила его с семьей сначала в Константинополь, а оттуда в Болгарию, в Варну. Выбитый из колеи, энергичный капитан первого ранга не выдержал тяжести жизни в эмиграции, быстро опустился, почти не пытался найти заработок и стал попивать.

К счастью, природа наградила его молодую жену великолепным сопрано. Выступая в местных кабаре, она содержала семью. Прячась в глубине зала, Илья Оскарович не спускал с нее глаз и дома закатывал му-

чительные сцены ревности из-за преподнесенных ей цветов.

В Софии Елена Георгиевна познакомилась с французским посланником Франсуа Жорж-Пико. Дружеская преданность этого дипломата семье Липхарт длилась более тридцати лет.

Когда в сороковом году немцы оккупировали север Франции, к посланнику, находившемуся уже давно в отставке, французские власти обратились с просьбой принять управление самым неспокойным, восемнадцатым районом Парижа. Гестапо не напрасно подозревало старого дипломата в содействии силам Сопротивления. Дважды его бросали в немецкие тюрьмы, и все же бывший посланник оказался среди главных организаторов освобождения Парижа.

Еще в Болгарии при влиятельном содействии Жорж-Пико семье Липхарт было присвоено французское гражданство. С тех пор они переменили приставку «фон» на французскую «де».

Со временем Таня с матерью переселились в Германию, а Илья Оскарович с сыновьями отправился в Париж. Елена Георгиевна получила ангажемент в Берлинской опере, а Таню определили пансионеркой в частную школу в Баварии.

В Париже в течение десятка лет Илья Оскарович брался за подряды на ремонт и окраску домов, находя сотрудников из числа эмигрантов, о которых говорили «бывшие люди». Они отличались изысканными манерами, но были не слишком трудолюбивы и склонны к спиртному.

Нерегулярные заработки Ильи Оскаровича вынуждали его жену поддерживать семью материально.

Их сыновья, еще подростками забросив учение, стали сами зарабатывать себе на жизнь, дабы избавиться от домашних попоек и отцовских собутыльников.

В тридцать первом — тридцать втором году Таня с матерью переехали в Париж, сняв трехкомнатную квартиру, ту самую, в которой два года спустя я стал их ежедневным посетителем.

Болея, Илья Оскарович отсиживался дома или отправлялся в ближайшее бистро, где стакана красного хватало, чтобы он вернулся домой в повышенно возбужденном состоянии. И так как его воспоминания об охоте на тигра или о том, как перископ его

лодки резал тонкий лед, надоели всем домашним, я становился его слушателем, хотя и не очень внимательным. Из-за болезненной ревности мужа Елене Георгиевне пришлось отказаться от выступлений в кабаре и служить кельнершей в русском ресторане.

Меня заинтересовали политические взгляды старшего брата Тани. Он состоял в партии младороссов.

Среди массы эмигрантов младороссы выделялись своим особым отношением к Советскому Союзу. Они силились привить молодежи любовь не только к былой России, но и особенно к той, какой она стала в наши дни, даже если формы ее правления были для них неприемлемы. Называя себя «второй советской партией», они вызывали негодование эмигрантов старшего поколения. Допуская в принципе выборную систему Советов, они в то же время объявляли себя монархистами и поддерживали претендента на российский престол великого князя Кирилла. «Царь и Советы» — таков был один из их лозунгов.

То, что этот князь благосклонно относился к младороссам, еще больше возмущало старых эмигрантов.

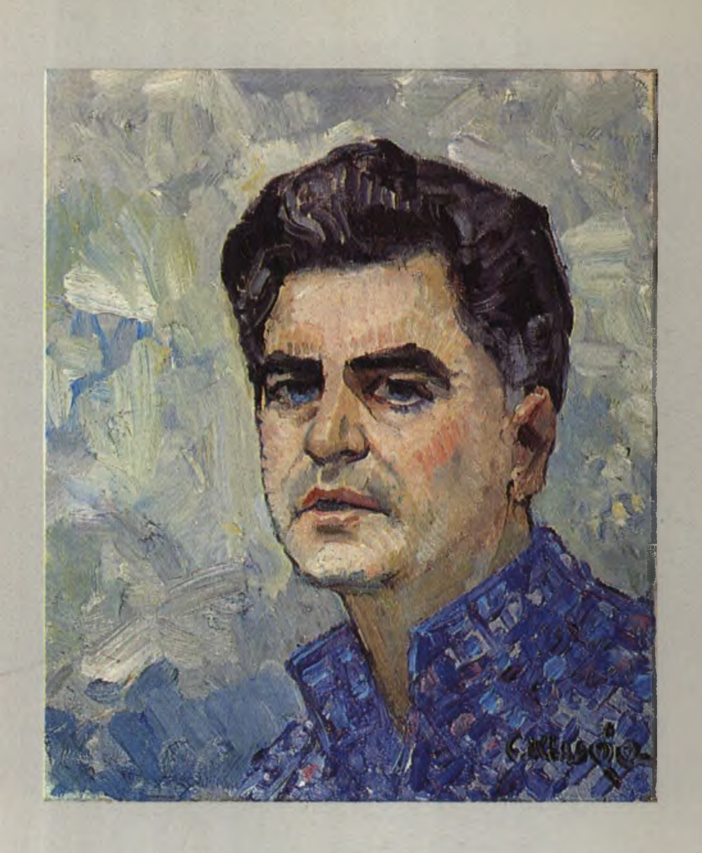
Антагонизм сторонников этих двух направлений хорошо выражался грубоватым лозунгом младороссов: «Мы стоим лицом к России и жопой к эмиграции».

Основа их расхождений лежала в готовности младороссов в случае войны быть всеми силами души на стороне Советского Союза и содействовать ему в борьбе, в то время как их родители (которых младороссы прозвали «зубрами») мечтали о свержении власти большевиков, хотя бы и с помощью иностранных штыков и ценой порабощения России.

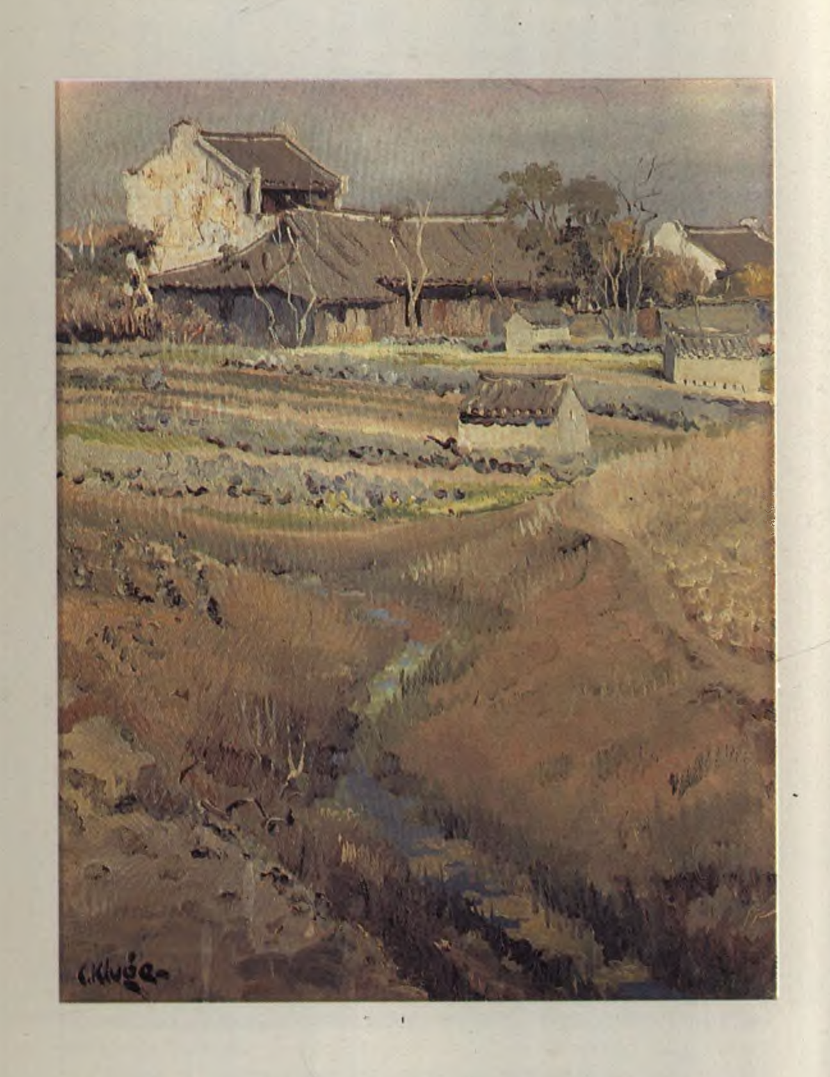
Однажды знаменитого графа Игнатьева, генерал-лейтенанта Красной Армии (однофамилец моего деда), заметили беседующим на террасе «Куполь» с основателем младоросского движения Александром Казем-Бэком. Через считанные минуты их окружили репортеры эмигрантских газет, и на следующее утро можно было прочесть: «Маска наконец сорвана!», «Враги России среди нас!» и т. п.

Хотя я и разделял отношение младороссов к нашей стране, их приверженность монархии казалась мне несерьезной и я остался в стороне от их движения.

Все эти страсти не мешали Тане и мне ходить на танцы в «Морской клуб». В те годы среди членов этого



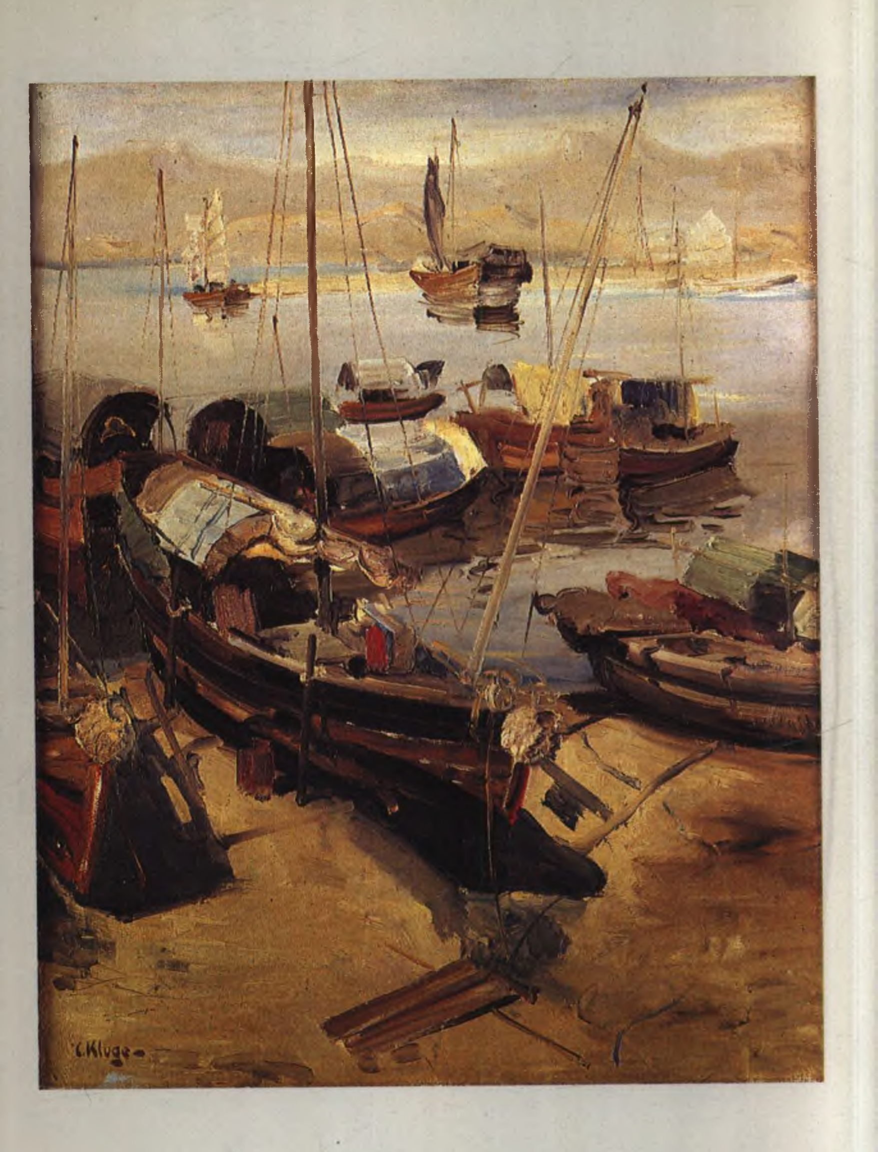
Автопортрет. Париж. 1957



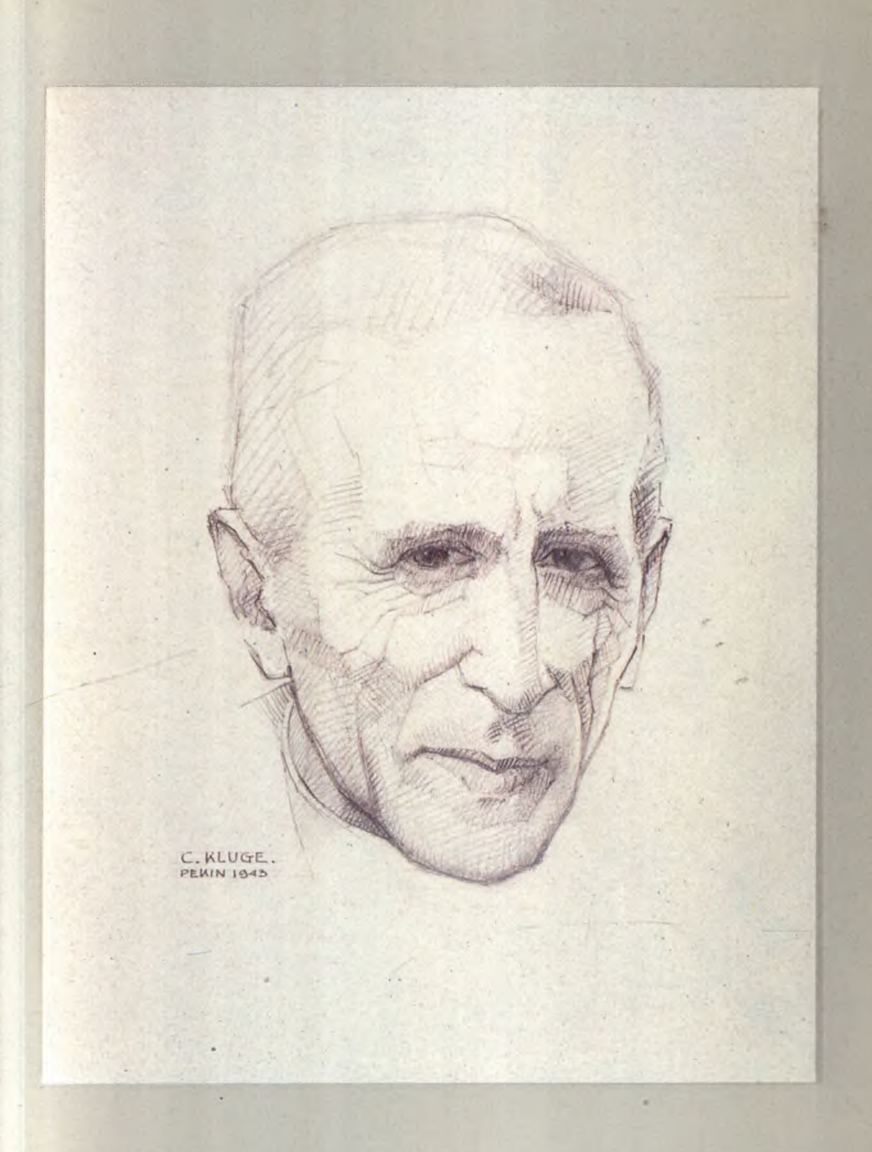
Сампанки на канале. Шанхай. 1942

Верфь мореходных джонок. Гонконг. 1949

Деревня под Шанхаем. 1943



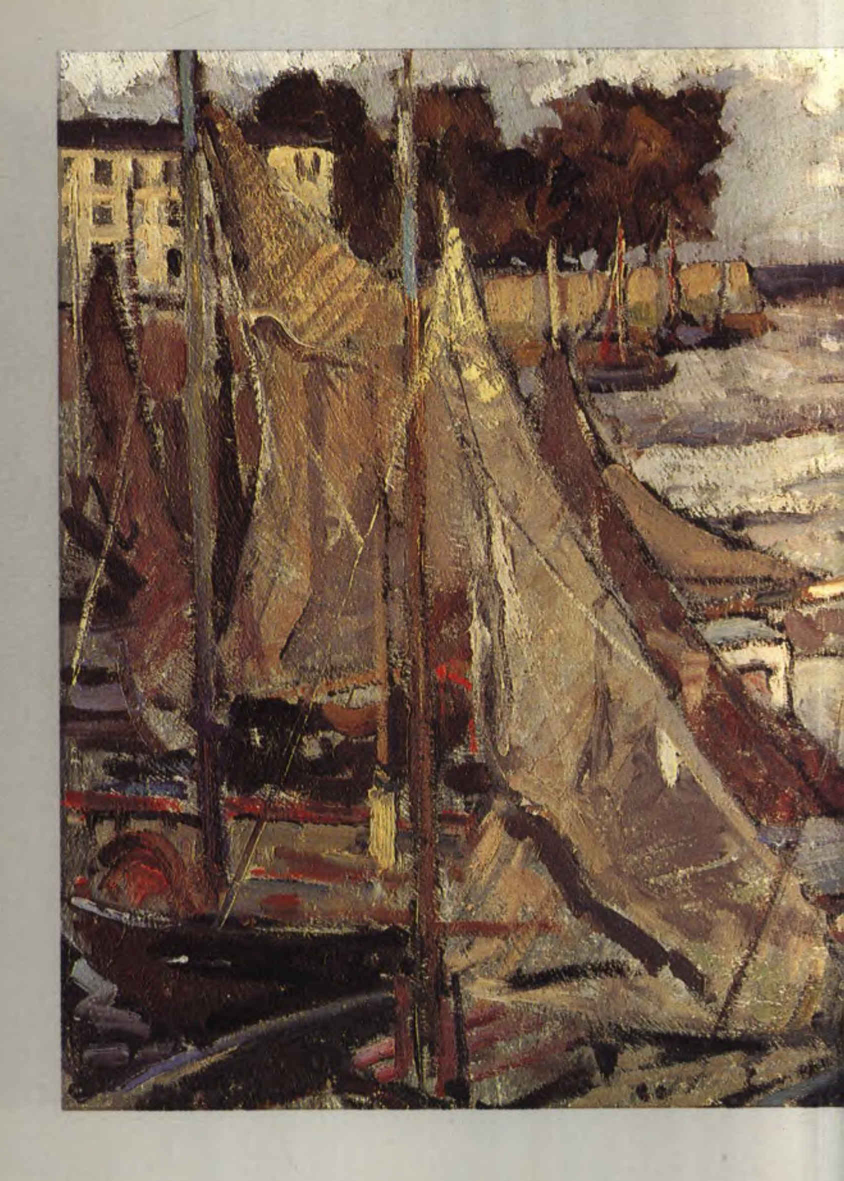
Сампанки в Гонконге. 1949



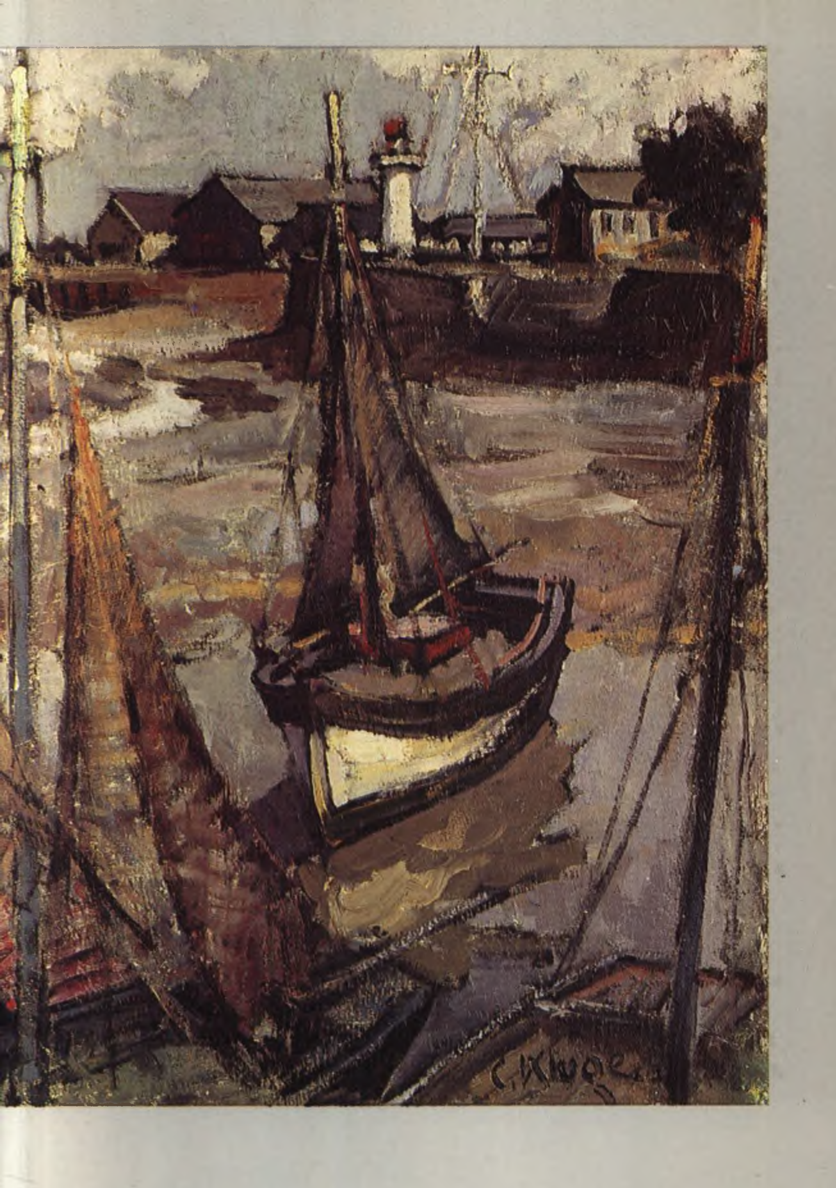
Тейяр де Шарден

Венеция. 1953

Пьяцца деи Мерканти в Милане.
1953



Отлив в Онфлере. 1951



→

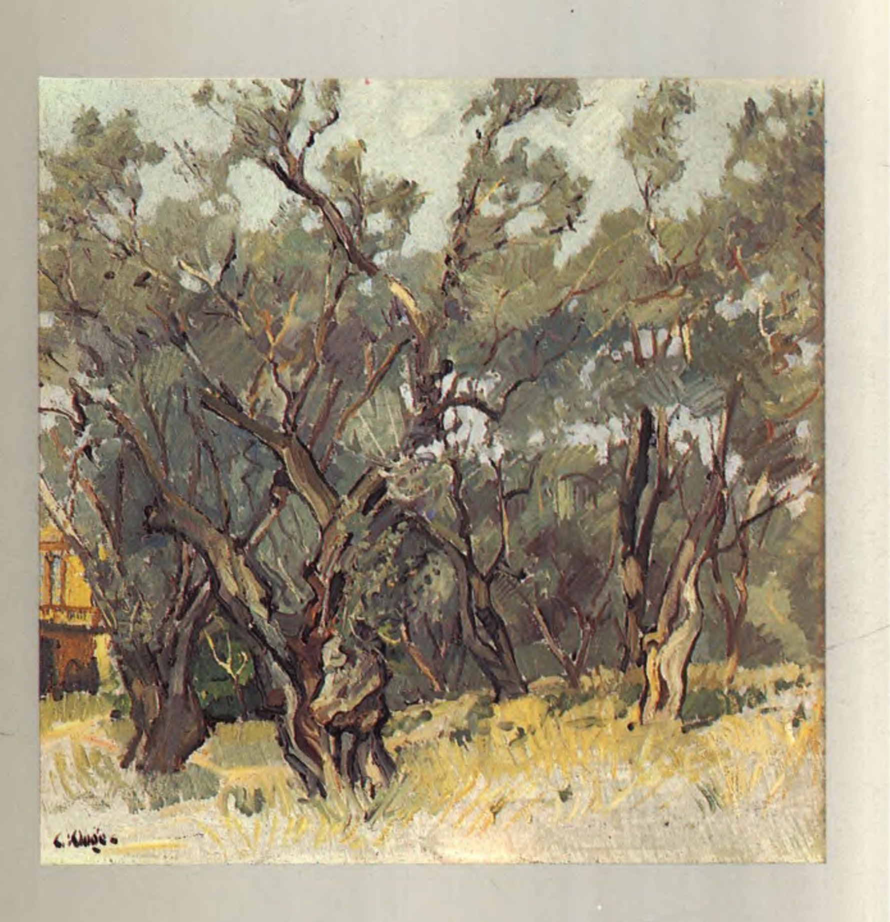
Сена пасмурным днем. 1960

Площадь Вогезов. 1960

C. Kluge

Скверик на Сен-Жермен де Прэ.
1978

Бульвар Сен-Мишель. 1982



Оливковая роща под Ментоной.
1959

Подсолнухи. 1960

Белые розы. 1970

клуба числились не только многие офицеры русского флота, но и несколько адмиралов.

Илья Оскарович пользовался всеобщим уважением, но то, что его сын был младороссом, рассматривалось как несчастье.

По вечерам Таня играла на пианино, то одна, то аккомпанируя матери или мне, игравшему на виолончели. После ужина обычно к ним приходили знакомые, беседы за чаем затягивались допоздна. Порой мы расставляли стол для пинг-понга и сражались, несмотря на тесноту помещения.

Поселившись у них, я стал вносить свою лепту в семейный бюджет, немного повысив питательный уровень стола. И все же, как мне помнится, на сладкое неизменно появлялся единственный апельсин, тщательно очищенный и разделенный Таней на дольки.

После учебного года я решил отправиться на заработки в Эльзас к своему дядюшке. Тем летом он устроил меня чертежником в конторе. Под вечер после нескольких партий тенниса я усаживался писать нежные письма Тане.

Два месяца разлуки показались нам бесконечными, и после моего возвращения в Париж мы решили пожениться при первой возможности. Но так как я лишь недавно поступил в Академию, мы сочли благоразумным отложить нашу свадьбу.

Илья Оскарович заметно слабел. Пришлось уложить его в больницу, где спустя несколько дней он скончался от рака желудка.

Хоть никто этого не высказывал, но его смерть не вызвала у нас ничего, кроме чувства облегчения.

Поженились же Таня и я лишь два года спустя. Не испытывая потребности в церковном обряде, мы были обвенчаны мэром пятнадцатого района Парижа.

В семье Липхарт к религии относились с иронией. Церковь посещалась только в пасхальную заутреню, предшествующую пиршеству разговения. К этому дню выпекались традиционные куличи. Тесто надо было месить усердно, на что требовалась пара моих рук. После замеса тесто поднималось и, чтобы оно не «упало», по квартире ходили на цыпочках и говорили чуть не шепотом. Когда же куличи были испечены и остывали, испуская волнующий аромат, то о них говорили, что они отдыхают.

ЛЕТО НА ЮГЕ

Поженившись, мы решили провести остаток лета в лагере, организованном младороссами на берегу Средиземного моря, вблизи тогда еще малоизвестного города Сен-Тропез. Палатки были расставлены в роще среди огромных сосен, сразу же за пляжем мельчайшего песка.

За рощей тянулись виноградники. По пляжу можно было за час дойти до Сен-Тропез, не встретив ни одной живой души. С правой стороны пляж упирался в скалистый утес с маяком на вершине.

С тех пор все изменилось: Сен-Тропез стал самым фешенебельным курортом, и, идя по тому же пляжу, надо чуть ли не переступать через сплошную массу загорающих туристов.

Нам предоставили крошечную палатку. Большую часть дня мы проводили в воде. Под соснами расставлялись длинные столы из нетесаных досок — за ними мы утоляли наш волчий аппетит.

К ночи все садились на полянке в круг на еще теплый песок и заводили хоровое пение. Меня поражало, как десятки людей, незнакомых до встречи в лагере, могли так великолепно петь в несколько голосов.

Среди молодежи сложилась команда хороших игроков в волейбол, и я увлекся этим спортом. Их инструктор покрикивал на меня: «Тут тебе не университет, тут надо думать головой».

Однажды лагерь охватила тревога. Вокруг нас горели леса. Мы понадеялись, что нашей роще, защищенной виноградниками, удастся избежать общей участи, но сильный ветер, дующий в нашу сторону, грозил неминуемым пожаром. Не успели мы снять и перетащить палатки к самому прибою, как рощу охватило пламя. Спасаясь, мы прятались за скалы, спускавшиеся к морю. Горящие шишки с треском пролетали над нашими головами. В удушливом дыму мы дышали через смоченные в воде платки. Пожар не утихал большую часть

ночи — мы провели ее, прижавшись друг к другу между скал. Но утреннее солнце, небесная лазурь, море и радостное сознание молодости быстро рассеяли ужасы этой ночи.

Этим летом, отправляясь группой на прогулку, мы всякий раз подхватывали модную тогда и в Париже песню:

«И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!»

Эти куплеты соответствовали нашему оптимистическому настроению.

У нас в лагере было два друга, оба — Миши. Один — настоящий геркулес: я в жизни не встречал человека с плечами такого размаха. Второй Миша был сутул и тщедушен. Они оба были пристрастны к красному вину, но так как в лагере горячительное запрещалось, то они поднимались на утес, к маяку, где среди кустарников, под крышей из тростника, располагалась небольшая распивочная. Ее постоянными посетителями были виноделы окрестных ферм.

Хилый Миша хмелел быстрее своего могучего друга и однажды пристал к нему, чтобы в доказательство их дружбы тот ударил его изо всех сил. Миша-гигант долго отказывался, но в конце концов после ужасного удара в грудь тщедушный Миша буквально вылетел с террасы и исчез в кустах.

Каково же было их потрясение, когда, выбравшись из зарослей, пострадавший стал обнимать и лобызать своего друга, прося ударить его еще сильнее, чтобы у него пропали всякие сомнения относительно их жаркой взаимной любви.

«Брось, Миша, — нежно уговаривал его друг. — Никто ведь не поймет».

Эта сцена повторялась, пока сын кабатчика не прибежал в лагерь за нами с криком, что один русский убивает другого.

Чем объяснить, даже учитывая хмель, поведение этих добрых друзей?

Мне кажется, что оно выражает глубокую потребность многих русских доказать дружбу любой ценой. Хилый Миша хотел во что бы то ни стало убедить своего друга, что не перестанет его любить, даже если это будет стоить ему жизни.

Какими бы ни были чувства и мотивы двух наших друзей, Миша сильный был, конечно, прав, говоря, что их намерения останутся непонятными завсегдатаям кабачка.

Прошел год упорного труда. Торопясь окончить Академию, я справлялся со всеми проектами и ухитрялся подрабатывать чертежником у архитекторов.

Вскоре я смог снять для нас крохотное жилище — комнату для прислуги на седьмом этаже нового здания на набережной Сены. В углублении комнаты, служившем нам кухонькой, можно было, встав на стул и подняв слуховое оконце, увидеть поверх крыш башни собора Парижской богоматери.

Пользуясь черным ходом и лифтом, мы не знали, что этажом ниже жил один из известнейших художников — Марке.

Когда в ноябре 1937 года я получил диплом, все влекло меня к своим, в Шанхай, где я рассчитывал заняться архитектурой. Торопя мое возвращение, отец и мачеха прислали деньги для путешествия.

Но Париж меня не отпускал. Латинский квартал, улицы близ Академии, мосты и набережные стали так близки и дороги, что разлука с миром моих студенческих лет сделалась невыносимой. Я решил не расставаться с Парижем, не изобразив его в красках. Купил складной мольберт и все необходимое и принялся с увлечением за работу.

В недавние годы, в пору летних каникул я не раз брался за краски, пользуясь гуашью.

Теперь же Париж очаровал меня многовековой патиной строений и бесконечными оттенками тополей по берегам Сены.

Моя ли привычка к точности чертежа тому виной или, скорее, укоренившееся во мне требование безупречного рисунка, внушенное когда-то Подгурским, только построение форм, сам рисунок оставались основой моих этюдов. Благодаря рисунку, больше чем краскам, мне удавалось отчетливо выделить особенность, «характер» изображенного. Я досадовал всякий раз, когда мне приходилось краской исправлять рисунок, тем самым уничтожая или смазывая наиболее выразительную сущность этюда.

«Твой главный недостаток, — попрекал меня один опытный художник, — в правильности твоего рисунка. Старайся уничтожать его как можно больше мазками кисти. Разве ты не видишь, как занудна точность твоей перспективы!?»

Писать Париж, с великим многообразием его форм и тональностей, стало потребностью, от которой мне было тяжело отказаться.

Как ни тянуло меня в Шанхай, к семье, с которой я был в разлуке более шести лет, моя новая страсть — живопись — удерживала меня в Париже лишних полгода. Масляные краски, позволявшие изменять, улучшая написанное, особенно подходили моим исканиям.

И все же спустя месяцы конверт с деньгами на дорогу в Китай, приколотый позади шкафа, настолько похудел, что отъезд стал безотлагательным. Нам и так пришлось отказаться от французских пароходов и довольствоваться дешевым третьим классом на японском «Кашима Мару».

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШАНХАЙ

Помню, с какой радостью я показывал Тане знакомые мне достопримечательности в портах на пути к Шанхаю.

Среди прочих навсегда памятных мест никогда не забудется ботанический парк в Сингапуре, с его огромными экзотическими деревьями, в которых перекликались тысячи обезьян.

Внезапно нас застиг тропический ливень. Мигом промокшие до нитки, мы укрылись под соломенной крышей продавца чая и лимонада. Но выглянуло солнце, такое же тропическое, и высушило на нас одежду. Мы собирались уйти, когда улыбающийся хозяин лавочки предложил нам свой зонт, сказав, что ливень может так же внезапно повториться. Я хотел ему заплатить за зонтик, но он наотрез отказался, уверяя, что и так щедро вознагражден, наблюдая наше счастье.

Я никогда не забуду выражение спокойствия и доброжелательной мудрости на его лице, напоминавшем древние изваяния Индии и Индокитая.

Ливень в Сингапуре всегда бередит в моей памяти другой эпизод, случившийся годы спустя на берегах Сены, вблизи парижского собора. Внезапный дождь заставил меня наспех сложить этюдник и укрыться на террасе ближайшего бистро, заказав себе кофе. Дожидаясь конца ливня, зашел под полотнище террасы и стал среди столиков какой-то элегантно одетый мужчина

Хозяин спросил, что он желает заказать. Ответа не последовало. Пришелец, возможно иностранец, продолжал невозмутимо стоять на месте. Через несколько минут хозяин, красны от злости, с выпученными глазами, выскочил из-за стойки и стал орать, что он платит налоги и пользоваться его террасой могут только его клиенты. Мужчина посматривал на него с явной иронией, но не вымолвил ни слова и не пошевелился, пока не прекратился дождь.

Память об этих двух ливнях наводит на мысль о пропасти, разделяющей нам подобных. Подобных — в чем?

Масса впечатлений нахлынула на меня в нашем семейном гнезде. Отец и мачеха заметно постарели, девочки, похорошев, выросли до неузнаваемости. Миша был женат на молоденькой Гале Жирицкой. Вскоре после нашего приезда у них родилась дочь Наташа. Я стал ее крестным отцом.

Больше всего поразила меня перемена в брате. То ли он с годами настолько изменился, то ли на его характер так повлияла женитьба, только я почувствовал, как между нами возникает стена взаимного непонимания. Возможно, конечно, что семь лет жизни в Париже изменили и меня, и, видимо, в каком-то другом, несовпадающем направлении. К моему огорчению, пришлось вскоре отказаться от обсуждения с лучшим другом детства вопросов, выходящих за пределы практической стороны жизни.

Таня и я прожили несколько недель у отца, пока я присматривал себе работу и жилище. Предлагались должности в архитектурных конторах, но, поскольку я намеревался основать собственное дело, не хотелось связывать себя службой у коллеги.

Администрация французской концессии предложила мне место заведующего отделом приема прошений о разрешении на постройку. Я согласился, рассчитывая прослужить несколько месяцев и познакомиться с местными условиями строительства.

В тридцать восьмом и тридцать девятом годах благодаря наплыву в город богатых китайцев строительство жилых домов процветало как никогда, несмотря на военные действия. Стоимость строительных материалов росла с каждым днем, и мои посетители в отчаянии упрашивали поторопиться с выдачей разрешения.

Убедившись в тщетности попыток подкупа, мои просители пытались, особенно накануне праздников, исхитриться всучить у меня дома огромную корзину с фруктами, бутылками ликеров и среди искусственных цветов — красный с золотом конверт, а в нем чек на предъявителя либо бонус на покупку в универсальном магазине на крупную сумму.

Едва мне удалось выдворить посыльного с дарами, как наша служанка, не разделяя моей щепетильности и получив щедрые чаевые, втаскивала корзину на кухню с черного хода.

Мы жили в небольшой, удобной квартире только что построенного дома в лучшей части «французского» города.

В доброе старое время, когда проверка проектов и выдача разрешений на постройку тянулись месяц и два, никто не возражал. В военное же время цена на материалы чуть не удваивались с каждым днем и из-за нашей волокиты просителям нередко приходилось отказываться от постройки.

Сократить эти сроки росчерком пера свободно мог наш главный директор. К нему-то, составив все данные, я и обратился с докладом.

«Вы вполне правы, — сказал он, просмотрев мое заявление, — наши процедуры основываются на ошибках. Но сами эти ошибки освящены многолетним пользованием, и я ни в коем случае не решусь их устранить».

С тех пор мне все помнятся слова директора — «ошибки, освященные многолетним пользованием». С какой упорной цепкостью держатся за укоренившиеся ошибки и заблуждения все те, кто противятся развитию нашей всеобщей жизни!

Друзья, которым я показывал свои парижские этюды, в один голос советовали устроить выставку. Они уверяли, что многие французы будут рады повидать свой Париж. Я послушался их, и, к моему удивлению, несколько вещей с выставки были проданы.

Таня ждала ребенка, и перед ужином, следуя советам ее врача, мы гуляли по тихим улицам нашего района, задерживаясь на перекрестке, где недавно, в столетие смерти, был поставлен бронзовый бюст Пушкина, исполненный моим учителем Подгурским.

Однажды под вечер — это случилось 3 сентября 1939 года — злой рок истории нанес нам сокрушительный удар. Хорошо помню место в гостиной отца, где я стоял в этот момент. Радио передало, что Франция и Англия объявили войну Германии после отказа Гитлера вывести войска из захваченной Польши.

Намерения Гитлера были ясны каждому, а между тем наша страна обязалась оказывать ему поддержку, становясь его сообщницей. Договор о ненападении, под-

писанный Молотовым и Риббентропом, был невыносим всякому, кто, несмотря на все творившиеся в России злодейства, считал ее своей родиной.

Нападение Красной Армии на Польшу, уже полураздавленную Рейхом, казалось ужасным позором. Возможно, что причиной этой агрессии была поспешность Москвы в стремлении предотвратить продвижение немцев до нашей границы. И все же ничто в наших глазах не отличало одних «победителей» от других.

«Вот на что способна твоя Красная Армия! — кричал в исступлении отец. — Наносить удар в спину стране и так смертельно раненной!»

Весной сорокового года после месяцев долгого бездействия немцы перешли в молниеносное наступление на Запад. Захватив Голландию, их войска хлынули на Бельгию. Бессильный сопротивляться вермахту, бельгийский король подписал с Гитлером мирный договор, вызвав возмущенную речь французского премьера Поля Рейно.

А через какую-нибудь неделю, обойдя с юга укрепления «линии Мажино», немецкие дивизии ринулись по равнинам Франции в направлении Парижа. За исключением танковой дивизии под командованием полковника де Голля, оказавшей врагу двухдневное сопротивление, французская армия бежала, бросая оружие.

Перед вступлением немцев в Париж французское правительство перекочевало в Бордо. Прилетев туда, Уинстон Черчилль предложил объединить правительства Англии и Франции, с тем чтобы хоть их оба флота продолжали борьбу с Германией. Но правительство Поля Рейно отклонило это предложение, предоставив судьбу страны дряхлому Петэну.

На другой стороне планеты, вдали от разыгрывавшейся трагедии, мы жили в трепетном ожидании нашей участи. Как поступят японцы, чьи рассвирепевшие армии окружали Шанхай?

Мои сослуживцы слонялись из отдела в отдел, обмениваясь мнениями и прогнозами. Какой-то неизвестный французский генерал по Лондонскому радио призывал к сопротивлению оккупантам, основав движение «Свободная Франция».

Все это казалось тщетным, напоминало витийствования наших генералов-эмигрантов, то и дело взывавших к восстанию против советской власти.

Новости, доходившие до нас из разных источников, противоречили одна другой, создавая хаотическую картину событий в Европе.

Местная французская радиостанция во главе с блестящей журналисткой Клод Ривьер подверглась давлению со стороны как японских властей, так и официальных представителей петэновского правительства.

Кое-кто из коллег смирился с происходящим во Франции, виня в падении страны пресловутую французскую неразбериху. Они готовы были видеть в энергичных мероприятиях Петэна спасение Франции. Иные предавались отчаянию в бессильной ненависти к оккупантам.

Французское посольство приказало всем французским гражданам подписать обязательство не участвовать ни в каких организациях, восстающих против правительства Виши. Сторонникам «Свободной Франции» пришлось перейти в подполье. Японцы арестовывали всех подозреваемых в сотрудничестве с союзниками, превратив многоэтажное здание «Бридж хауз» в застенок. Слухи о неслыханных пытках наводили ужас на жителей Шанхая.

Среди арестованных оказался наш старый друг Маслов, отец Тамары, служивший много лет в английской таможне. Месяц спустя его выпустили постаревшим на десять лет. Проявив изрядное для тех дней мужество, мой брат Миша и его жена приютили пострадавшего.

В поддержку полиции на случай беспорядков наш бывший директор колледжа Гробуа, ветеран первой мировой войны, сформировал батальон волонтеров. О сопротивлении японским войскам не могло быть и речи, — задачей волонтеров было противодействовать натиску китайских грабителей, если те нападут на нашу концессию. Баснословные богатства в складах Шанхая возбуждали среди масс изголодавшегося многомиллионного населения, окружавшего концессии, весьма грозные намерения.

Нас, волонтеров, около двухсот. Французская войсковая часть, находившаяся в Шанхае, выделила нам форму, карабины, пулеметы и несколько бронированных машин. На соревновании по стрельбе я выигрываю призы, но строевое обучение, команды, похожие на собачий лай, удручают меня. Я убеждаюсь в своей непригодности к военному делу.

Однажды, наблюдая неточность нашей стрельбы из пулемета «хочкис» — от нас требовалось разобрать и собрать этот пулемет в одну минуту, — Гробуа утешил нас, уверяя, что в настоящем бою мы сможем корректировать огонь по тому, как будут падать «типы».

В тот день я дал себе слово не стрелять по «типам» ни при каких обстоятельствах. Отец же и брат казались рады-радешеньки всякий раз, как нас мобилизовывали. Это случилось всего раз шесть, когда угроза нападения китайцев казалась неотвратимой. Слава Богу, нам ни разу не пришлось прибегать к оружию. Быть может, наше военное присутствие на шанхайских рубежах сдерживало угрожающие порядку толпы, оказывая моральное воздействие, предотвращая бесчинства и катастрофу.

Ω

В августе сорокового года у нас родился сын Михаил. Четыре месяца спустя в семье брата появилась вторая дочь — Светлана.

Наш Миша не был крещен, и это вызывало всеобщее возмущение. Нам пришлось согласиться на крещение обоих младенцев в одной купели. Галя, жена брата, особенно ревностно блюла церковные обряды.

Несчастного младенца двух-трех недель от роду священник трижды с головой окунает в купель «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Радуясь, что выжил, не утопили, или из протеста дитя издает неистовый вопль, но тут его подхватывает крестная мать, вытирает и облачает во все праздничное.

Священник, не внимая мирской суете, продолжает читать свои молитвы. В определенный момент он обращается к крестным родителям, требуя, чтобы они дунули и плюнули через правое плечо, дабы удалить дух нечистого от новообретенного православной церковью раба Божьего такого-то.

Мне рассказывали, что мой отец был почему-то крещен двухлетним. Едва его окунули в купель, он, вывернувшись, вцепился в бороду попа и заорал «Генуг!», то есть «Хватит!» — первым языком отца был немецкий.

ВОЙНА В ЕВРОПЕ

Красная Армия атакует Финляндию, и маленькая держава оказывает ей героическое сопротивление.

«Видишь! — восклицает отец. — России больше нет! Вместо нее четыре буквы и шайка сволочей, которая ими управляет. Их армия — НОЛЬ! В ней нет настоящих офицеров, их заменили политические комиссары, поэтому их бьют любые финны».

Я напоминаю ему, что в 1905 году русской армией не руководили политические комиссары, когда ее побили японцы. Нельзя также винить Красную Армию в проигранной в семнадцатом году войне с Германией.

Не скажу, что́ именно в те дни возмущало отца — негодность ли Красной Армии или политический строй страны. Ненависть к большевикам приводила его в бешенство, и он становился нелогичным и несправедливым.

Работа в муниципалитете монотонна, но, имея в виду происходящее в мире, я не спешу расставаться со службой. Японцы конфискуют цемент и железо для военных нужд, и строительство в Шанхае замирает.

Все свободное время я посвящаю живописи.

Купив по случаю машину, до того как бензин был реквизирован, я объезжал окрестности Шанхая в поисках сюжетов для своих этюдов.

Старинные мореходные джонки, приплывшие ото всех концов китайского побережья, снабжают город провизией, заменив суда, захваченные японцами для транспортировки войск. Эти на редкость живописные корабли оснащены парусами то белыми, то цвета ржавчины, — сама их форма и поблекшие краски расписного корпуса так и просятся на полотно.

За два часа обеденного перерыва я умудрялся, закусив дома чем попало, примчаться к набережной или за город, к одному из каналов, где меня ждал не-

виданный выбор сюжетов. Не теряя времени я принимался за этюд. Замечу: этюд удается тем лучше, чем более ограничено время на его исполнение.

Я не слыхал ни об одном художнике, который работал бы с таким напряжением, как Ван Гог. Этот гениальный мастер никогда не писал иначе как под напором особого возбуждения. Каждый его мазок тому доказательство. Его необычайный подъем передается и зрителям его работ.

Случалось, что незадолго до заката солнца я обнаруживал особенно заманчивый сюжет и, зная, как мало осталось времени, колебался: браться ли за краски?

Но чаще всего увлечение любимой работой берет верх. Я быстро набрасываю очертания, знаю, что через полчаса солнце зайдет, краски изменятся и придется прервать начатый этюд.

Тогда мною овладевает особое рвение. Обычный темп ускоряется, кисть как в лихорадке атакует полотно и палитру, разбрызгивая краски. Смеси тонов делаются моментально, словно сами по себе, я не теряю и секунды на вытирание кисти. Этюд как волшебный рождается на моих глазах. За считанные минуты мне порой удается написать исключительно удачную вещь.

После такого напряжения я испытывал полное истощение. Предельное возбуждение выводило меня из обычного равновесия. Заснуть в эту ночь без снотворного было немыслимо.

Однако несомненно, что такая творческая интенсивность не требует от художника какой-либо усиленной работы мозга. Наоборот, она переходит как бы в автоматический режим. Зрение ловит формы и тона, вызывающие рефлексы, благодаря которым зрительные впечатления моментально переносятся на полотно. Мышление художника, тем более аналитическое, не принимает никакого участия. Он действует как под влиянием гипноза. Но за такой творческий подъем он неизменно расплачивается полной прострацией, чувством опустошенности, сознанием утери чего-то крайне важного.

В эти минуты у художника происходит некая духовная утрата. Можно вообразить, что какая-то часть «личности» художника покидает его временно, насыщая собой то, что он создал. Видимо, такое метафизическое явление, вызванное неким таинственным духовным перемещением, и истощает живописца.

У меня в таких случаях на несколько часов пропадал голос. Я мог говорить лишь шепотом. В письмах к брату Ван Гог жаловался на полную утрату половых способностей, вызванную интенсивной работой.

Постоянное, от зари до зари сверхчеловеческое напряжение в короткий срок лишило Ван Гога рассудка. И жизни.

Однажды на открытии моей выставки меня окружили владельцы моих прежних работ. Они уверяли, что благодаря моим полотнам, висящим в их доме, у них сложилось впечатление, будто они хорошо знают и меня самого. Почему не допустить, что какая-то связь устанавливается между художником и обладателями плодов его труда.

При поддержке нескольких любителей живописи мне удалось создать подобие давно исчезнувшего «Арт клуба». Подгурский был все еще с нами и, как прежде, незаменим. Нас, членов клуба, человек тридцать. Среди них постоянный посетитель — посол Португалии. Трудно понять, что побудило его приняться за рисунок, так мало он был к этому расположен. Зато японка, жена секретаря посольства, госпожа Сакабэ оказалась на редкость талантливой художницей. Ее муж и она раньше жили в России и неплохо говорили по-русски. Их дом находился невдалеке от нашего, и мы изредка обменивались визитами.

Ω

Война в Европе вступает в новую фазу. Немцы колеблются с высадкой в Англии. Их авиация бомбит плохо защищенную страну. Мы со стиснутым сердцем следим за драматическим развитием неравного боя, плохо представляя себе ужас происходящего.

Массовые налеты, всякий день пущенные немцами ко дну корабли английского военного флота, не говоря уже о транспортах, приводят нас в уныние. Лишь позиционной, траншейной войны больше нет.

Но все это далеко от нас, на другом конце земли, и, так как высадка немцев на побережье Англии становится все более проблематичной, мы понемногу свыкаемся с тем, что творится в Европе.

Редкие письма от отставного полковника Жорж-Пико напоминают нам об ужасной участи, постигшей

Францию. Он пишет нам всякий раз, когда ездит из Парижа в «свободную» зону, повторяя, насколько трудно создать что-либо, когда «вокруг так много трусов».

Уже год ненавистная свастика развевалась над Парижем, когда как-то рано утром неожиданно к нам пришел отец. Он был чем-то сильно взволнован. Вошел, не здороваясь сел за стол, помолчал и как-то странно прохрипел: «Нас атаковали! Эти сволочи перешли нашу границу. Я только что услышал по радио. Но ты запомни: нас им не победить, наш народ, наша армия их уничтожит, и это будет конец Гитлера!»

Я не верил своим ушам. Два потрясающих события поразили меня: нападение Германии на Россию и внезапная, немыслимая перемена в отношении отца к его родине.

«Ты говоришь, что НАС атаковали и что НАША армия победит?!»

Он с силой ударил рукой по столу, заставляя меня замолчать. «Сейчас не время для иронии. Сегодня нет ни красных, ни белых, а только русские, которые не отдадут страну своих предков!»

Я попытался его обнять, но он отстранил меня. Бешеная ненависть к врагу не оставляла места сантиментам.

«Что делать? Что можно сделать?» — повторял он в отчаянии. Никогда я так не восторгался отцом, как в это утро. Двадцать лет критики и насмешек по поводу Советской России, ее хозяев и ее армии исчезли, как только его страна, ее независимость оказалась под угрозой. За отцом мне виделись миллионы русских, поднимавшихся с такой же решимостью на защиту своей земли.

С того дня мы жили сообщениями по радио из Владивостока и газетными сводками, доходившими из России.

Дослушав ежедневную передачу, отец отправлялся на службу и там пересказывал все сослуживцам. И хоть немцы и продолжали наступать, он находил множество аргументов в доказательство временности их успехов Несмотря на его весьма ограниченный французский язык, ему удавалось возбуждать среди коллег надежду на победу над Гитлером. Надежду, которую многие

начали терять. Непоколебимый оптимизм русского офицера, знавшего и помнившего все особенности своей страны, воспринимался с доверием и радостью.

«Ну какой же это человек, ваш отец! — поражался его сослуживец. — Он нас всех заражает верой в победу».

На стенах папиной квартиры приколоты портреты маршалов Красной Армии. Они вырезаны им из «Правды» в четверть газетного листа. А в центре висит — во весь лист — генералиссимус Сталин! Видя мое изумление, он возражает: «Я знаю, что это мерзавец, но сегодня он, и никто иной, командует всей нашей армией — это надо понимать».

За несколько дней отец резко изменился. Казалось, он уже не с нами, а, как когда-то, «на фронте». Я привык с раннего детства на вопрос: «Где твой папа?» — отвечать: «Он на фронте». Так и теперь: находясь в Китае, он всей силой души разделял участь миллионов измученных людей, зарывавшихся в землю, отступавших все дальше в глубь России, чтобы наконец, сотворя невозможное, стоять насмерть, сдерживая врага.

Я пытался понять, что именно порождало в нем такую силу привязанности к России и ненависти к немцам. Ведь сам он был наполовину немцем.

«Понимаешь, на войне я видел так много товарищей, однополчан, убитых у меня на глазах, я уже не говорю о родном брате, что мне трудно относиться равнодушно к немцам. Конечно, ненависть вообще, и уж подавно к целому народу, недостойна мыслящего человека, но... — И тут его голос резко повышался: — Но какого черта они снова полезли на нашу землю?»

И, как в детстве, я снова видел перед собой грозного воина, любимого моего отца.

Сборник стихов Константина Симонова, переходивший из рук в руки, был отзвуком тех чувств, что и мы переживали тогда. Особенно вспоминается его «Ты помнишь, Алеша...». На фоне зарева пожарищ поэта преследует видение остающихся у врага пылающих деревень с крестами их кладбищ:

«Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук защищая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся,
За в Бога не верящих внуков своих».

Таинственная связь умерших и живых — наших предков и тех, кто еще накануне сражался рядом с нами, — воодушевляет поэта: это центральная мысль его творчества. Его стихи, в которых дух погибших товарищей продолжает жить в сердцах бойцов, поражают меня своей силой и наводят на размышления.

В стихах, озаглавленных «С тобой и без тебя», Симонов пишет о той, чей образ неотступно воодушевляет бойца. В них контраст между самыми нежными чувствами и ужасами войны прекрасен опять-таки своей духовной высотой.

Военные песни тоже доходят до нас. Они быстро подхватываются большинством русских. Помнится та, где поется о танкисте, прославленном в боях и не находящем по возвращении домой решимости объясниться со своей любимой.

Увы, далеко не все распевали «Темную ночь». Многие, упрямо считая себя белыми, надеялись на победу немцев. Им мерещилось возвращение в свои владения и уж, во всяком случае, смена власти в России. Таково было направление одной из эмигрантских газет Шанхая, воспевавшей доблесть немецких воинов — защитников христианской культуры.

Были и те, кто рассуждал о последствиях возможного вступления Японии в войну против России. Помалкивая, они не высказывались ни за, ни против союзников.

Но к концу сорок первого года, когда дивизии вермахта были остановлены под Москвой и Ленинградом, эйфория этих «патриотов» перешла в уныние. В Клину, Можайске, Волоколамске наши войска, несмотря на перевес немцев в вооружении, не отступали ни на шаг.

Хочется, забежав вперед, рассказать о моем друге Чарлзе Борроусе. Я познакомился с ним в семидесятом году на большом приеме в Чикаго. Покрывая гул зала, внезапно разнеслось мощное пение: «Волга, Волга мать родная...» Я было подумал, что так петь может один Робсон, но, хоть певец и был негром, то был не Робсон. Мы познакомились, он говорил по-русски без малейшего акцента. Оказалось, что до войны он учился и жил в России. А в дни бесконечных боев под Москвой он водил машину «скорой помощи», день и ночь перевозя раненых с фронта в московские госпиталя. Иногда, рассказывал он, раненых было так много, что случалось их класть друг на друга. Возить приходилось без отдыха,

сутками, и Чарлз страдал от полного недосыпания. Спал он урывками за рулем, пока его машину нагружали и разгружали.

Перед нападением немцев на Россию мать моего друга, негритянка, приехала в Москву навестить своего Чарлза и тоже застряла в Советском Союзе до конца войны. Но и ей нашлась работа: она стала диктором Московского радио на английском языке. Ее звучный голос сделался для миллионов американских слушателей голосом Москвы!

В пору нашего с Чарлзом знакомства его матери уже не было в живых, а он состоял куратором небольшого музея афро-американского искусства. Я прожил двое суток в его скромной квартире. Его жена заведовала тут же, при музее, школой для черных ребятишек, не только обучая их грамоте, но и развивая в них понимание и любовь к культуре их предков.

Уезжая из Чикаго, я по-братски обнял и расцеловал своего Чарлза, и он, расчувствовавшись, признался, что такого душевного отношения не помнит с самого отъезда из России.

Впоследствии он не раз будил меня среди ночи телефонными звонками из Америки, уверяя, что жить может только среди русских, иначе сопьется.

Зимой сорок первого и сорок второго годов немцы объясняли свои фронтовые неудачи суровостью русского климата, но наступала весна, за ней лето, а их войска как под Москвой, так и на севере, вокруг Ленинграда, стояли на месте.

Многое изменяло ход войны. Мощные заводы, переброшенные за Урал, стали производить необходимое оружие. На этих заводах работали почти исключительно женщины. Американцы понемногу взялись поставлять то, что нам требовалось. Следует также не забыть появление и растущую организацию в немецком тылу партизанских отрядов, наносивших врагу все возрастающие удары. То был настоящий второй фронт. Гитлеровцы обнаруживали его у себя за спиной.

Немецкое командование организовало воинские подразделения из взятых в плен красноармейцев, надеясь, что они будут сражаться против своих. Многие соглашались, рассчитывая на побег. Трудно вообразить их

отчаяние, когда, преодолев все тяжкие препятствия и опасности, они достигали расположения советских войск — и тут же арестовывались по подозрению в шпионаже. Их без суда ссылали на десять лет в сибирские лагеря.

Во Франции среди русских эмигрантов нашлись и такие, кто вступил в ряды гитлеровских войск. Они видели в Гитлере архангела небесного, поднявшего меч против безбожников.

Их усердие и в малой мере не повлияло на ход исторических событий. Разве что подстегнуло и без того маниакальную подозрительность Сталина, повлекшую безудержные репрессии. Под массовые аресты и ссылку попала немалая часть населения прибалтийских стран. Целые этнические группы севера Кавказа и Крыма были изгнаны, переселены или уничтожены по воле диктатора.

В годы немецкой оккупации отец той, кто печатала эту рукопись, русский эмигрант Андрей Галкин-Врасский, живя во Франции, активно участвовал в подпольном движении «Альянс». Приняв сан священника, он с паперти оглашал зверства фашистов, призывая к сопротивлению. Его бесстрашные речи вызвали негодование некоторых эмигрантов, и они сочли своим долгом донести о нем в гестапо. Галкин-Врасский был арестован и сослан в Бухенвальд, где и погиб.

Еще до ареста, зная чем рискует, он не раз повторял, что ему не дожить до конца войны. Следует добавить: местное гестапо, колеблясь, тянуло с арестом священника. Тогда наши «патриоты» обратились с жалобой в Берлин, вызвав распоряжение об аресте.

В Шанхае мы жили в полном неведении о творившемся в России, с волнением следя лишь за развитием военных действий. Миша и его жена всей душой желали победы русских войск. Правда, их чувства не выражались так демонстративно, как у отца. На их стенах, как, впрочем, и у меня, не висели портреты маршалов.

ВОЙНА НА ВОСТОКЕ

Сорок первый год приближался к концу. Наше внимание было приковано к Русскому фронту, когда внезапно трагическое событие потрясло весь Восток: японская авиация разбомбила американский остров и военную гавань Пирл-Харбор, потопив все стоявшие там корабли и уничтожив весь находившийся там воздушный флот. В короткое время японцы захватили владения Америки, Англии и Голландии в западной части Тихого океана, вступая в войну против двух крупнейших морских держав мира.

Подданные этих стран, жившие в Шанхае, оказались военнопленными, лишенными всякой надежды на побег. Занимавшие ответственные посты люди были немедленно арестованы и отправлены в «Бридж хауз». Остальных предупредили, что их поместят в лагеря, как только они будут сооружены в окрестностях города.

Японские войска оккупировали международную часть Шанхая, наша же французская концессия благодаря дружеским отношениям Японии с правительством Виши продолжала управляться по-прежнему.

В день нападения на Пирл-Харбор несколько итальянских военных кораблей и их гигантский лайнер «Конте-Верде» стояли в гавани Шанхая. Командиры, вопреки приказу Муссолини сдать суда японцам, затопили их.

Все это происходило почти одновременно. Неотвратимые опасности грозили нам со всех сторон. Лишь вести о стойкой защите Русского фронта облегчали наши тревоги. К тому же японское нападение вовлекло Соединенные Штаты в войну. Так что, несмотря на огромные потери, понесенные союзниками, их победа перестала казаться столь уж несбыточной.

Спустя несколько месяцев наши соседи Сакабэ в отчаянии называли вступление Японии в войну сумасшествием, виня во всем ненавистного Гитлера, якобы принудившего к этому их страну.

Несмотря на откровенность наших отношений, они не смели открыто винить японский генеральный штаб и тем более императора. Осуждение Микадо было бы недопустимым кощунством.

По сравнению с американской валютой наш шанхайский доллар терял каждый день чуть не половину своей цены. Мешок риса вскоре стоил тысячи местных долларов. Однако запасы города казались неисчерпаемыми. Все решительно было доступно на местном рынке. Шла лихорадочная торговля и спекуляция. Один оптовик жаловался другому: сардины в ста ящиках, которые он купил, оказались тухлыми. «Не надо было их вскрывать! — протестовал коммерсант, сбывший гнилье. — Товар существует для перепродажи!»

Как на грех, именно в эту пору мое увлечение живописью превращалось во всепоглощающую страсть. Красивые окрестности Шанхая манили меня своим разнообразием, но не всюду японцы разрешали ездить и тем более заниматься художеством. Некоторые районы были закрыты для жителей под угрозой смертной казни.

Однажды, обнаружив живописнейшую деревушку, расположенную на вершине холма, я принялся писать ее издали. Этюд уже подходил к концу, когда я с удивлением заметил, что в облюбованной деревушке против обыкновения не было ни души. Продолжая писать, я стал подозревать что-то неблагополучное. Так и случилось: я увидел японский патруль с винтовками на плечах, шагающий прямиком ко мне. Кривоногий офицер шел во главе отряда. Я делал вид, что продолжаю работать, хоть и без всякого увлечения. Дойдя до меня, офицер подал команду, и патруль стал как вкопанный, взяв винтовки «к ноге». Обойдя этюдник, офицер постоял за моей спиной минуты две, вновь издал лающую команду, и взвод зашагал обратно. Я тоже не задерживаясь сложил свои доспехи и повез домой незаконченный этюд.

Японские вояки пользовались дурной репутацией: когда чья-либо голова им уж очень не нравилась, они без колебаний срубали ее своей длинной саблей. И если за годы их оккупации мне удалось сохранить свою голову на плечах, то только из-за любви японцев к живописи. Любви и особенно разборчивому вкусу.

В другой раз, расставив этюдник у самого края пирса, я заканчивал живописный набросок порта со

стоявшими на якорях джонками, как вдруг заметил двух направляющихся ко мне японцев. Один из них, низкорослый, багроволицый, шел пошатываясь, с белой повязкой на лбу. Вдребезги пьяный, он жестами приказывал мне убраться прочь с его дороги. Не принимая всерьез его жестикуляцию, я продолжал работу. Однако, подойдя вплотную, он ухватился за этюдник, пытаясь сбросить его в реку. Инстинктивно и я вцепился в свое имущество, и, так как я был значительно больше моего врага, мольберт с этюдом остались на месте. Японец кряхтел и яростно хрипел, «теряя лицо» перед толпой китайцев. Стычка кончилась бы для меня весьма печально, если бы приятель пьянчуги, обозрев этюд, не оторвал коротышку, промычав ему что-то вроде: «Э-во-ий-дес». Мне потом перевели его лестное мнение: «Полотно хорошо».

И еще как-то, уже под конец войны, я едва не поплатился за вольности самым трагическим образом, не выручи меня опять-таки мое художество.

Время от времени я устраивал выставки своих работ и стал получать много заказов на портреты.

По мере того как живопись занимала в моей жизни все большее место, я стал замечать растущее раздражение жены.

Признаюсь, вернувшись домой с только что написанным этюдом, все еще поглощенный работой, я садился за стол, обдумывал написанное, мысленно критикуя кое-что и не вникая в сообщения Тани, обычно касающиеся Мишеньки или недопустимой наглости нашей китаянки.

Мои неопределенные ответы говорили о полном отсутствии внимания к ее словам. Тогда следовал взрыв, драма. Я был бесчувственным эгоистом, для которого ничто, кроме его мазни, не имеет значения. Такому, как я, не следовало заводить семью и уж тем более ребенка...

Враждебное отношение Тани к моему увлечению живописью приняло такие размеры, что она перестала появляться на моих вернисажах.

Глубокое взаимное непонимание входило все дальше и непоправимее в нашу дотоле безоблачную жизнь.

Среди заказчиц портретов бывали и молодые, привлекательные женщины — они не вызывали у Тани никакого раздражения. Она знала, что эти особы интересо-

вали меня исключительно как модели. Ее выводило из себя, как ни странно, то особое возбуждение и всепоглощающий интерес, которые вызывала во мне живопись.

Вначале я не придавал значения состоянию жены, но вскоре убедился в коренном изменении ее характера.

Несколько лет спустя один иезуит, познакомившийся со мной в Гонконге, сказал, что он сам большой любитель рисования и игры на рояле, но что, по его наблюдению, эта склонность вызывает раздражение и зависть его коллег.

Мои пейзажи становились все более популярными. И хотя больше половины моих всегдашних покупателей сидели в японских лагерях, мы жили не нуждаясь ни в чем необходимом.

Японцы реквизировали шанхайский запас бензина, и мне пришлось довольствоваться велосипедом. Я привязывал складной этюдник к багажнику и колесил по деревням в поисках сюжета.

Ω

Как-то жена французского генерального консула, завсегдатай моих выставок, позвонила мне, чтобы я непременно послушал доклад ученого-палеонтолога, приехавшего из Пекина, и попытался сделать наброски с него, пророчески добавив, что в «ближайшие годы весь мир будет говорить о нем».

Я не обратил тогда внимания на незнакомую фамилию докладчика. Это был Тейяр де Шарден.

Быть может, виной тому моя рассеянность. Знакомясь, я обычно поглощен изучением новых для меня черт лица, названная мне фамилия не задерживается в памяти, что нередко ставит меня в неловкое положение.

Так, однажды, попав на особенно шумный прием-коктейль, я был представлен хозяйкой хорошенькой молодой брюнетке. Пропустив ее фамилию мимо ушей, я объявил ей, что я — художник.

— Мне, выросшей среди мольбертов отца, знакома атмосфера мастерской художника, — заявила мне брюнетка.

Из вежливости я поинтересовался, в каком жанре работал ее батюшка.

— Как, разве вы не знаете?!

Чуя промах, я попросил повторить ее фамилию.

— Меня зовут Майя Пикассо, — произнесли, насмешливо улыбаясь, милые губки.

Итак, я отправился на доклад Тейяра де Шардена. Говорил он об эволюции живых существ, населявших нашу планету. Выражение его лица менялось так молниеносно, что я не справлялся с набросками. К тому же меня захватил доклад и не хотелось отвлекаться.

В заключение, заговорив о войне, он заметил, что, как всякий цивилизованный человек, он глубоко скорбит о невероятных утратах, страданиях и непереносимых горестях, которые она приносит людям, но если бы мы могли мысленно перенестись на сто лет назад, то нынешнее разделение человечества лишь на две воюющие стороны — на союзников и на сторонников держав «Оси» — показалось бы нам несомненным прогрессом. До сих дней нас разделяли сотни границ, теперь же осталась фактически лишь одна, и стоит людям Земли пожелать, эта последняя грань исчезнет. Тогда подобные войны станут невозможными.

Он предсказывал неизбежное единство, слияние человечества в нечто неразделимое. Было ли это утопией? В те годы постоянной тревоги я не думал, что настанет день, когда этот вопрос и речи этого ученого сделаются основой моих упований и духовных исканий.

Летом сорок второго года, спасаясь от шанхайского пекла, Таня, я и маленький Миша отправились морем в окрестности Дайрена, в рыбачий поселок Какахачи. В пору отлива море оставляло на песчаной отмели ручейки, отражавшие синеву неба и кое-где брошенные рыбачьи лодки. Над головой раздавались трагические крики чаек. В этой деревне жили несколько русских семей. В отличие от наших шанхайских соотечественников они пребывали в постоянном трепете перед японцами и помалкивали о политических событиях.

Я с увлечением писал морское побережье, этюд за этюдом.

Перед нашим отъездом к нам явился русский, служивший в японской комендатуре, с распоряжением явиться к начальнику с моими полотнами.

Японец сидел в кимоно, скрестив ноги, на подстилке посреди комнаты. Перед ним лежала неизбежная шашка, символ его власти.

Русский помощник, кланяясь в пояс, пролепетал что-то по-японски, его шеф изрыгнул некое приказание, и мне было велено развернуть холсты. Японец со свирепым видом долго их рассматривал, после чего просиял в улыбке, обнаружившей ряд золотых зубов, и мне было переведено его милостивое суждение: мои пейзажи напоминают ему Японию. Большей похвалы ожидать я не мог.

Победа русских войск под Сталинградом, где были окружены и взяты в плен триста тысяч гитлеровцев, предвещала и их дальнейший разгром. Исход войны стал ясен всему миру. Мы все ликовали. Все... кроме моего отца.

Как только завершилась битва за Сталинград, отец снял со стен портреты маршалов и перестал толковать о военных действиях, только ворчал: «Неудивительно, что немцы побиты, их фронт и коммуникации недопустимо растянуты. В таких условиях даже эти генералы, не стоящие унтер-офицеров царского времени, могли свободно управлять боями. И не надо забывать, что в Москве по-прежнему сидят большевики».

Как в волшебной сказке, вчерашний воин вновь превратился в брюзжащего эмигранта.

Думаю, что таившийся в нем четверть века дух защитника своей земли заставил смолкнуть накопившуюся злобу к советской власти, как только независимость его отечества оказалась под угрозой. Увы, благое перерождение длилось лишь столько, сколько существовала сама опасность поражения.

За этой странной переменой последовало и нечто новое: отец стал посещать церковь, куда не ступал ногой более двадцати лет.

Выходило, что человек способен не только менять свои взгляды, но даже коренным образом изменяться духовно. «Дух, как ветер, веет куда ему угодно», — гласит Писание.

Дух может овладеть человеком и даже целым народом, но он может также оставить его и... перенестись, переселиться в другие земли, к другим народам.

«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Матфей 21, 43).

ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН

Весной 1943 года на обеде в французском консульстве я был представлен навестившему Шанхай послу правительства Виши Анри Косму. Узнав, что я портретист, он пригласил меня с семьей на лето в Пекин, где находилось посольство, с тем чтобы я написал его портрет, портреты его жены и дочери.

Я с радостью принял предложение, и мы немедля отправились в «северную столицу» — в Пекин.

Плавание из Шанхая в Дайрен с остановкой в Цин-Дао становилось все более рискованным. Было очевидно, что японцы уже не полные хозяева своего моря. Опасаясь американских подводных лодок, вся команда, вооруженная биноклями, с утра до ночи озирала морскую даль, а с заходом солнца все огни нашего судна гасились.

В Пекине мы сняли типично китайский дом, расположенный вокруг дворика. В его углу росла столетняя сосна причудливой формы.

Его превосходительство позировал утром, а мадам Косм — после обеда. Я обедал с ними и с их многочисленными посетителями.

В первый же день среди десятка гостей, сидящих вокруг огромного круглого стола, я увидел шанхайского докладчика, иезуита Тейяра де Шардена. Он часто приходил обедать в посольство. Кроме того, я постоянно встречал его то в гостях у жителей Пекина, то на совместных загородных экскурсиях. С ним мы ездили в Летний дворец, осматривали Нефритовый фонтан и иные поразительные достопримечательности окрестностей столицы Китая. Тейяр брал с собой мешок, забрасывая его за спину. Идя по дорогам, он то и дело поднимал камень, раскалывал его на ладони молотком и либо выбрасывал, либо клал в свой мешок.

Однажды он пригласил меня в Геобиологический институт, созданный в Пекине им и его сотрудником, молодым профессором-биологом Пьером Леруа.

В первое посещение я провел у Тейяра полдня, с растущим интересом слушая его о том, как развивалась Жизнь на Земле. Он говорил о прошлом нашей планеты и показывал мне гипсовые слепки черепов наших предков. Говорил он самым простым, бесхитростным языком, не пытаясь сглаживать или смягчать свои дерзкие умозаключения. Год назад, во время доклада в Шанхае, он пользовался столь сложными научными терминами, что было не просто уловить его основную мысль. Его предосторожности вызывались не только внимательно слушавшими японскими дипломатами, но и присутствием в зале иезуитов в черных рясах, преподавателей университета «Аврора». Среди них находилось и иерархическое начальство Тейяра, относившееся крайне критически к его теориям, считавшее их еретическими и, следовательно, опасными.

Еще задолго до войны, страшась новаторства мнений Тейяра, Ватикан предложил ему выбор: либо отлучение от католической церкви, либо бессрочная ссылка в Китай.

Живя в Китае, он почти не надеялся на возвращение в Европу, его главной целью было добиться от Рима разрешения на публикацию своих книг. Этого разрешения он так и не получил до конца дней своих. В 1955 году, умирая в Нью-Йорке, Тейяр завещал все свои рукописные труды сестре милосердия, ухаживавшей за ним. После его смерти она издала их. Эти издания, распространенные на всех языках и во всех странах мира, принесли ей колоссальное состояние.

В сороковых годах Тейяр вел переписку с упомянутой мной писательницей и журналисткой Клод Ривьер, ведавшей в Шанхае французской радиостанцией. Судя по его письмам, Тейяр был преисполнен самых нежных чувств к этой исключительной женщине. Впоследствии, в шестьдесят восьмом году, Клод Ривьер издала в Париже воспоминания о своей дружбе с великим ученым под заглавием «В Китае с Тейяром». В конце повествования она цитирует с дюжину его писем, написанных ей из Пекина. В этих письмах постоянно звучит горечь новатора, не понятого и отвергнутого своими.

В письме от 30 мая 1943 года Тейяр пишет, как, находясь однажды в Шанхае и поселясь у иезуитов в их «Авроре», он забыл в ночном столике какие-то свои записи. Их обнаружили и с тех пор, «подобно органам

ЧК, мне не дают покоя». «Мне бы наплевать, — пишет он дальше, — на всю их назойливость и наставления, если бы с тех пор меня не лишили возможности появляться в Шанхае».

В том же письме, говоря о переменах, которые предвидит в ближайшие времена, он пишет: «Тогда появится необходимость, — и тем хуже для богомольной братии, — в религии, соразмерной с обновленной Землей. Я продолжаю верить, что христианство, досконально продуманное и передуманное, содержит в себе зародыш религии, которую мы ждем, — религии Прогресса!»

Недвусмысленной критикой Тейяр выразил свое полное несогласие с тем, что представляет собой христианская религия. Она, подчеркивает он, должна быть ПРОДУМАНА и ПЕРЕДУМАНА. Подобные суждения часто встречаются не только в письмах Тейяра к его «дорогой маленькой Клод», но и в его довоенной обширной переписке с друзьями во Франции.

Дальше в этом же письме следуют дружеские, весьма польстившие мне строки:

«Среди новоприезжих — Клуге, который завоевывает всеобщую симпатию и пишет портреты важных особ. С ним... — тут Тейяр перечисляет троих художников любителей, — мы располагаем всеми данными для «Пекинской школы». Это может только повысить духовный уровень колонии». В следующем письме, от двадцать пятого июля, он также пишет обо мне.

Слепых сторонников нерушимости догматов их веры особенно возмущало сопоставление Тейяром понятия о Творце и Творении. В одном он видел исток, начало, но в то же время и продолжение и завершение другого, называя их «альфой и омегой». Для него они были равнозначимы и неделимы. Благодаря таким взглядам его мировоззрение становилось приемлемым для многих мыслящих людей, не зашоренных и не ослепленных идолопоклонством.

Однажды он прочел мне целую лекцию о том, как появившиеся на Земле притимивные создания по прошествии миллионов лет изменялись, обогащаясь добавочными органами, конечностями, позволяющими им вести более независимое существование.

До появления жизни на Земле, говорил он мне, неорганическая материя земной коры подвергалась постоянному крошению. Под влиянием дождей, мороза,

ветров и морских волн скалы дробились в камни, камни — в песок и пыль, оседавшую на дно морей, рек, болот и озер. Там-то и возникли первые проявления органической жизни на нашей планете.

Прогрессируя и видоизменяясь, живые существа переходили во все более совершенные биологические группы благодаря размножению и развитию составляющих их организмов и появлению у них более сложных физиологических систем.

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ ВЫЗЫВАЕТ СОЕДИНЕНИЕ ЕДИНИЦ МЕНЬШЕЙ СЛОЖНОСТИ В ЕДИНИЦЫ БОЛЕЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ».

В этом процессе — основа эволюции всего живого. Такой закон агломерации противоположен вечному уделу материи неорганической, подверженной постоянному дроблению.

Затем Тейяр обратил мое внимание на рост черепной коробки у новопоявившихся творений, указывающий на их церебральное развитие. Мыслящий орган постепенно увеличивается в своих размерах. Так, череп наших предков, живших всего лишь триста тысяч лет назад, был на полпути развития между нашим теперешним и черепом гориллы.

Таким образом, к появлению агломерации и «комплексофикации», к стремлению объединения добавляется развитие мозга — церебрализация всего живого, особенно человека.

Жизнь на Земле прервалась, если бы эти изменения прекратились. Но она неуклонно продолжает видоизменяться. Этому процессу миллиард лет, он не может ни приостановиться, ни значительно изменить направление.

«Каково же будущее Человека? Изменится ли его физический облик? — вопрошал Тейяр. — Об этом рано судить, но следует не терять из виду то, что наши предки, не так давно выйдя из пещер, фундаментально изменили свой быт». Благодаря разуму Человек стремится к улучшению образа жизни, обогащаясь новыми орудиями производства и подчиняя природу своим нуждам. Такого стремления к совершенствованию не наблюдается у животных, довольствующихся своим уделом. Подобно самой природе, Человек постоянно стремится улучшить то, что было создано его предшественниками. Кроме того, нельзя не видеть стремления людей последних тысячелетий к объединению в постоянно численно

растущие группировки. Племена сливаются в княжества и царства, а те — в империи. Появляются разные политические и религиозные течения, связывающие людей, живущих и вне пределов своих государств.

Помимо политических партий и синдикатов современный человек создает и различные группы: спортивные команды, музыкальные ансамбли, всевозможные клубы и т. д. Во всех этих группах человек-индивидуум утрачивает свое значение перед созданным им коллективом.

Тейяр неоднократно настаивал на значении слова «union» — «объединение», «союз». В нем он видел не только формулу процессов эволюции живого, но и непременное условие обретения растущим человечеством гармонического сосуществования. (Следует обратить внимание на то, что слово «union» не случайно существует в самом названии многих стран. Хотя бы: Советский Союз, Соединенные Штаты, Объединенное Королевство, Южно-Африканский Союз и т. д. В наши дни и страны Европы стремятся к объединению, уже не говоря о растущем значении Объединенных Наций*.)

Тейяр утверждал, что стремление к объединению совершенно необратимо.

Недавние попытки некоторых правительств заставить всех своих граждан жить исключительно ради блага своего отечества привели к уродливым формам истерического культа нации, обычно направленного либо в ущерб соседям, либо против составной части своего же народа. Нам хорошо памятны трагические последствия такого стремления одних возвысить себя над другими. В крахе подобных попыток Тейяр усматривал «мучительные роды» грядущего всепланетного стремления людей к уничтожению разделяющих их границ и к слиянию в одну неразделимую человеческую общину.

«Процесс объединения людей, — говорил он, — будет рожден всеобщим осознанием его необходимости. Такова, казалось бы, роль религий, в особенности нашей, христианской. Однако в ее теперешнем виде она совершенно не пригодна для этой высшей роли».

Так посвящал он меня в мир своих размышлений сорок девять лет тому назад. Не берусь утверждать, что мне с абсолютной точностью запомнились все его мыс-

---

* Это замечание автора, оно не принадлежит Тейяру де Шардену.

ли, но таково было их направление. Его влияние на меня оказалось значительно более глубоким впоследствии, чем в те, военные годы.

В Париже в двадцатых годах, до ссылки в Китай, Тейяр читал лекции по геологии. В течение же долгих лет, проведенных в Пекине, он сотрудничал с разделившим его ссылку выдающимся биологом Пьером Леруа.

Обширные знания в разных областях науки помогли Тейяру не только сделать выводы о предшествующем развитии Жизни на Земле, но и предвидеть ее эволюцию в будущем. «Можно, — говорил он, — без риска ошибки экстраполировать, когда кривая Жизни неуклонно устремлена в течение миллиарда лет в одном и том же направлении».

По моей просьбе Тейяр позировал для портрета — сперва углем, а другой раз, для большей точности этюда, — карандашом.

За посольским столом контраст между Тейяром и иными высокопоставленными лицами был разителен. Тейяр не мог не чувствовать пропасти, разделявшей его и невежественных карьеристов, но, как мне помнится, он не изменял ровному дружественному отношению к окружающим, несмотря на снисходительно-иронический тон самодовольных вельмож.

Разговоры в их обществе чаще всего отдавали фальшью и лицемерием.

«Я прошу вас не наказывать это прелестное дитя! — жеманничала одна дама. — Я вас прошу во имя маршала!» (то есть Петэна).

Или вот такое: «Вы не находите, что лицо господина Мицумато (новоприбывшего японского дипломата) поразительно благообразно?» — «О да, это настоящий Греко!» В те дни все они старались льстить «хозяевам» в надежде, что их комплименты станут известны японцам.

Помню, с каким душевным облегчением я как-то услышал невероятную дерзость: обратившись в некую администрацию с прошением, я получил из окошка ответ улыбнувшегося мне русского служащего: «Эта-а-а невацмоцна!» По бумагам он видел, что я приезжий из Шанхая, и давал мне понять, что не все тут раболепствуют перед Микадо.

Посол позировал в парадной форме, при несметном множестве знаков отличия. Крестов и медалей было

столько, что они едва выглядывали один из-за другого. Путаясь, я старался хоть как-то в них разобраться, но, несмотря на все мои усилия, полномочный представитель петэновского правительства в Китае то и дело выражал неудовольствие, сетуя, что на портрете он с трудом отличает орден Святого Андрея от Мальтийского, и добавляя, что ожидал от меня большего прилежания.

Его супругу, облаченную в платье «ампир», увенчала брильянтовая диадема. И, как я ни старался, мне не удавалось передать масляными красками весь блеск ее драгоценностей.

При всем искреннем гостеприимстве этой женщины я с легким сердцем покидал посольство и устремлялся по узеньким пыльным переулкам, зажатым высокими стенами оград, к Геобиологическому институту. Здесь меня ждали внимательный взгляд и крепкое рукопожатие друга — Тейяра.

Пересекая улочку (в Пекине их называют «хутунг»), я заглядывал к русскому фотографу Варгасову. Он проявлял и печатал мои снимки, а также продавал мне свои великолепные фотографии Пекина. Благодаря его советам мне не приходилось терять время на поиски наиболее живописных уголков.

В Шанхай я вернулся с изрядным запасом этюдов. Самое же драгоценное, что я увез с собой из Пекина, — воспоминание о человеке, далеком от наших суетных забот и тревог тех дней, далеком и от того трагического, что творилось в мире, но предвидевшем в скором будущем утверждение всеобщего братства людей Земли.

Ω

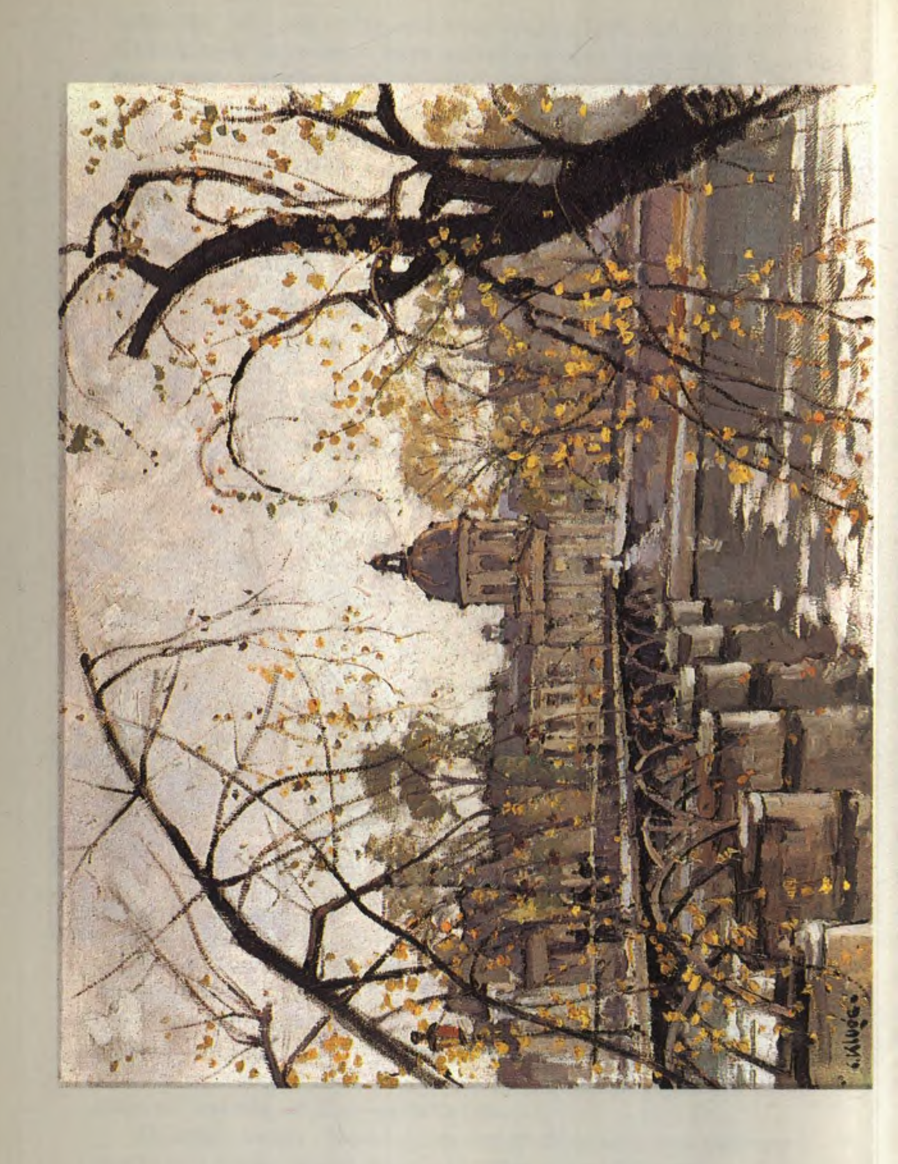
В своей книге «В Китае с Тейяром» Клод Ривьер передает разговор с Тейяром при выходе из зала конференции в Шанхае. Ее тревожили критические возгласы местного духовенства. Тейяр же успокаивал ее, отшучиваясь: «Между ними и мной разница лишь в измерении эволюции. Мы пользуемся разными часами: мои уходят вперед, а их — отстают».

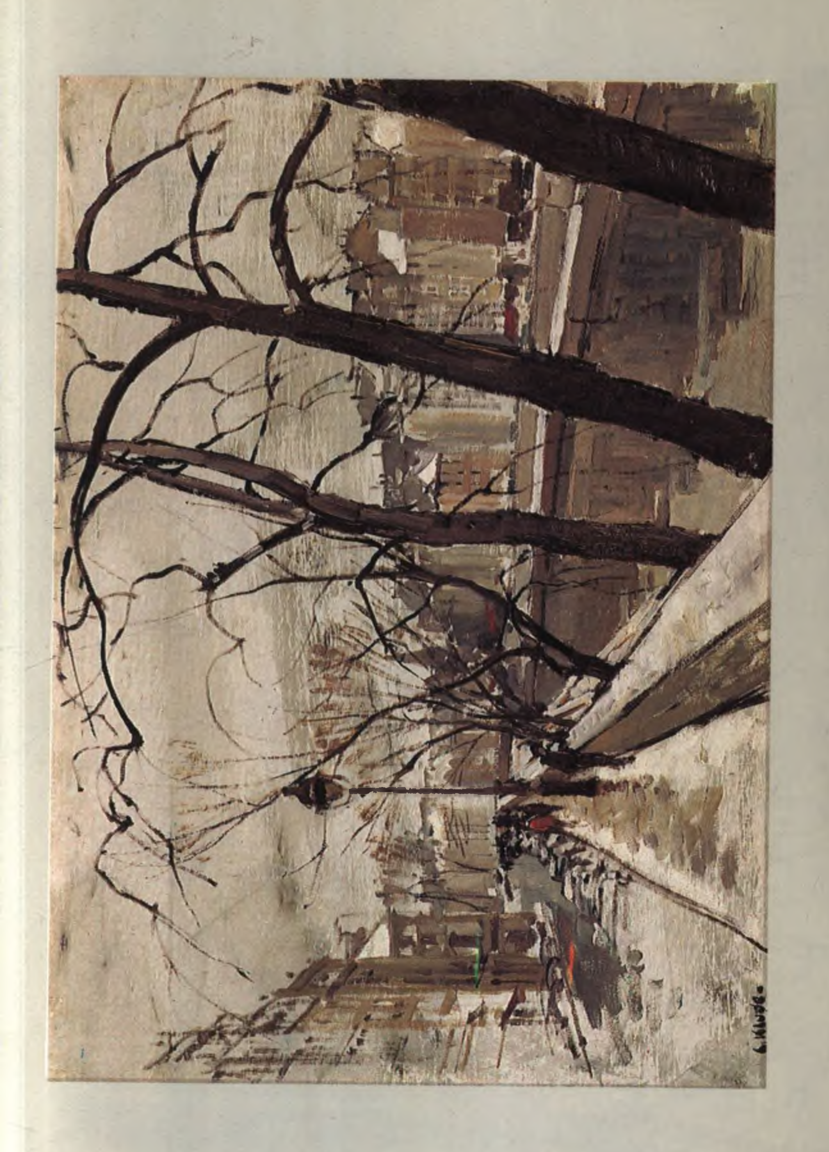
В этой книге Клод Ривьер упоминает ближайшего друга Тейяра, тогда еще молодого профессора — биолога Пьера Леруа. Тейяра тоже звали Пьером, и, чтобы отличить одного от другого, писательница называет Тейяра Петром Первым, а Леруа — Петром Вторым.

Мост искусств и Французская Академия. 1960

Нотр-Дам. 1975

Набережная Орфевр. 1961

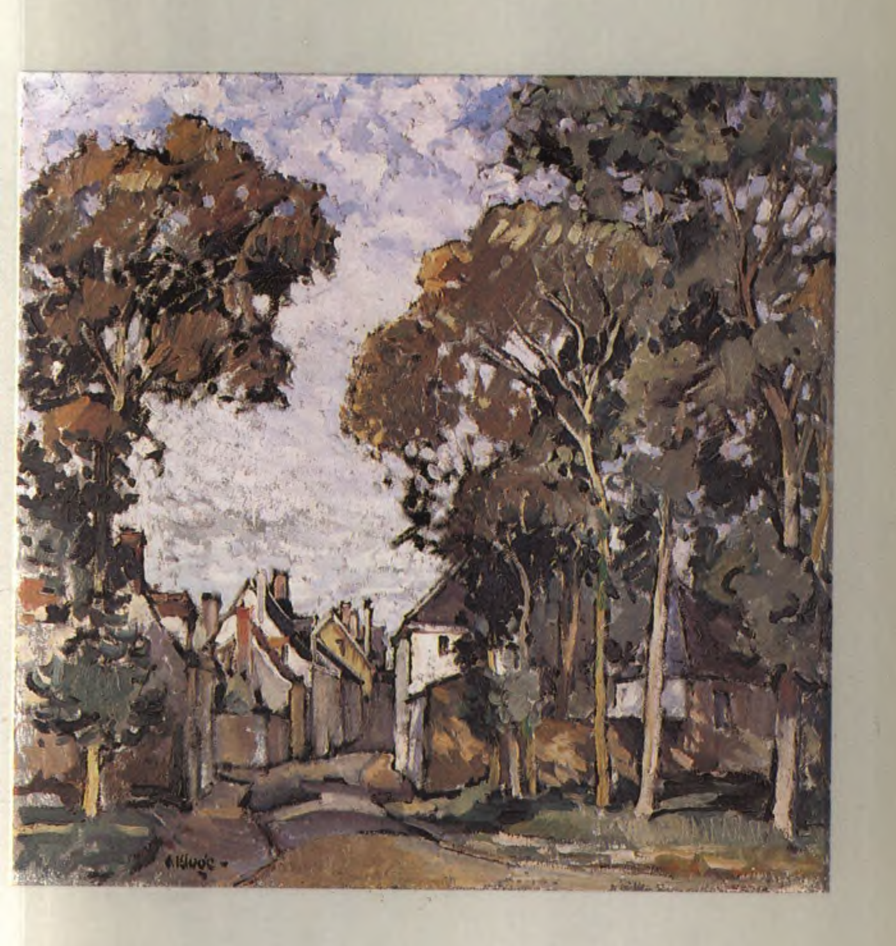




Авеню Матиньон, центр художественных галерей Парижа. 1958

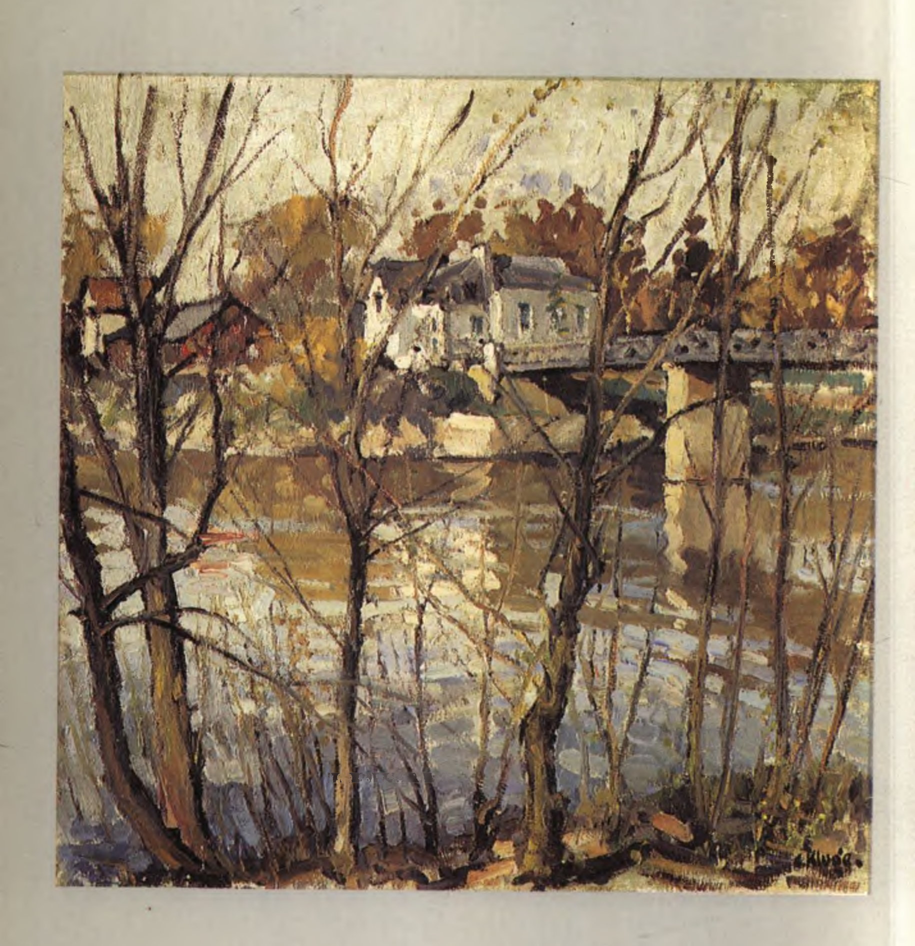
Юрий Павлович Герман. 1965

Набережная Бурбонов. 1970



Санлис. 1958

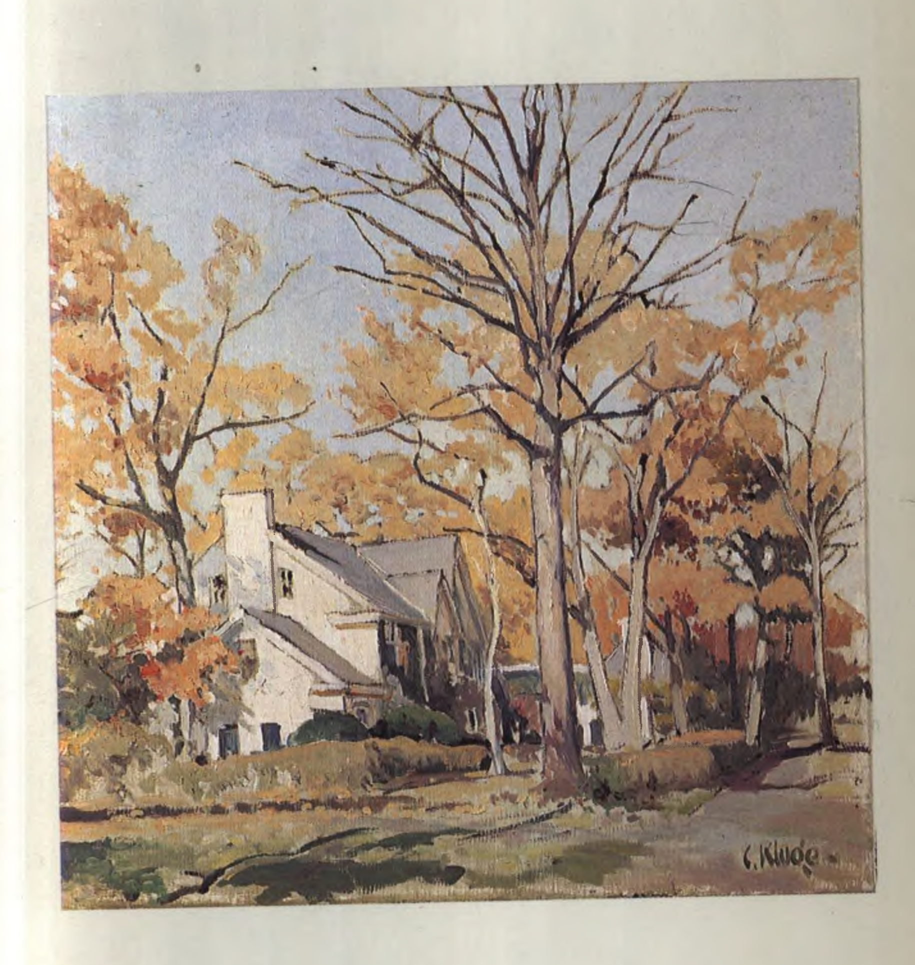
Вид на сену с Нового моста. 1970



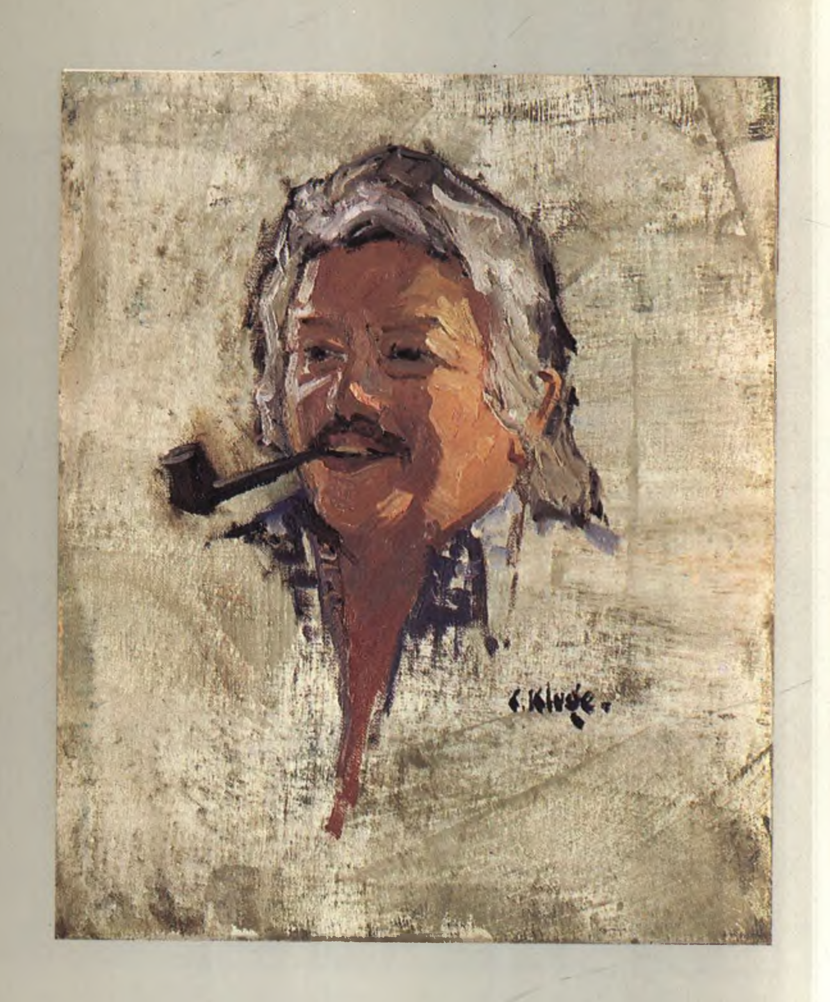
Буживаль. 1961

Церковь близ Этампа. 1970

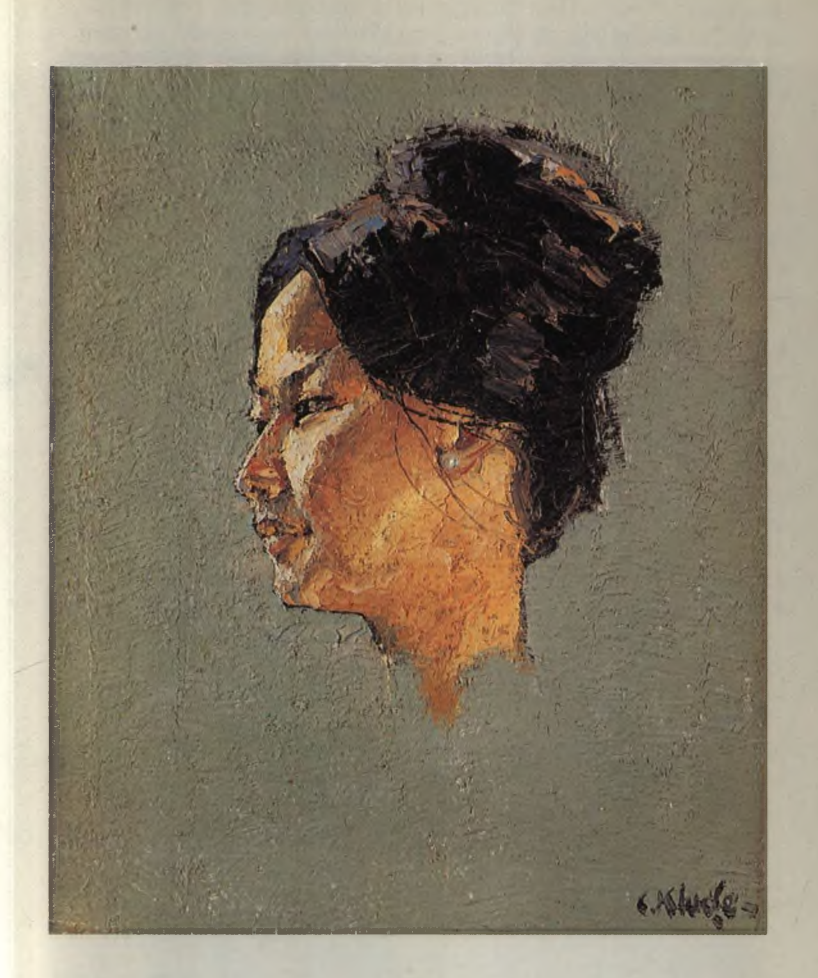
«Индейское лето» — осень в предместье Чикаго. 1978



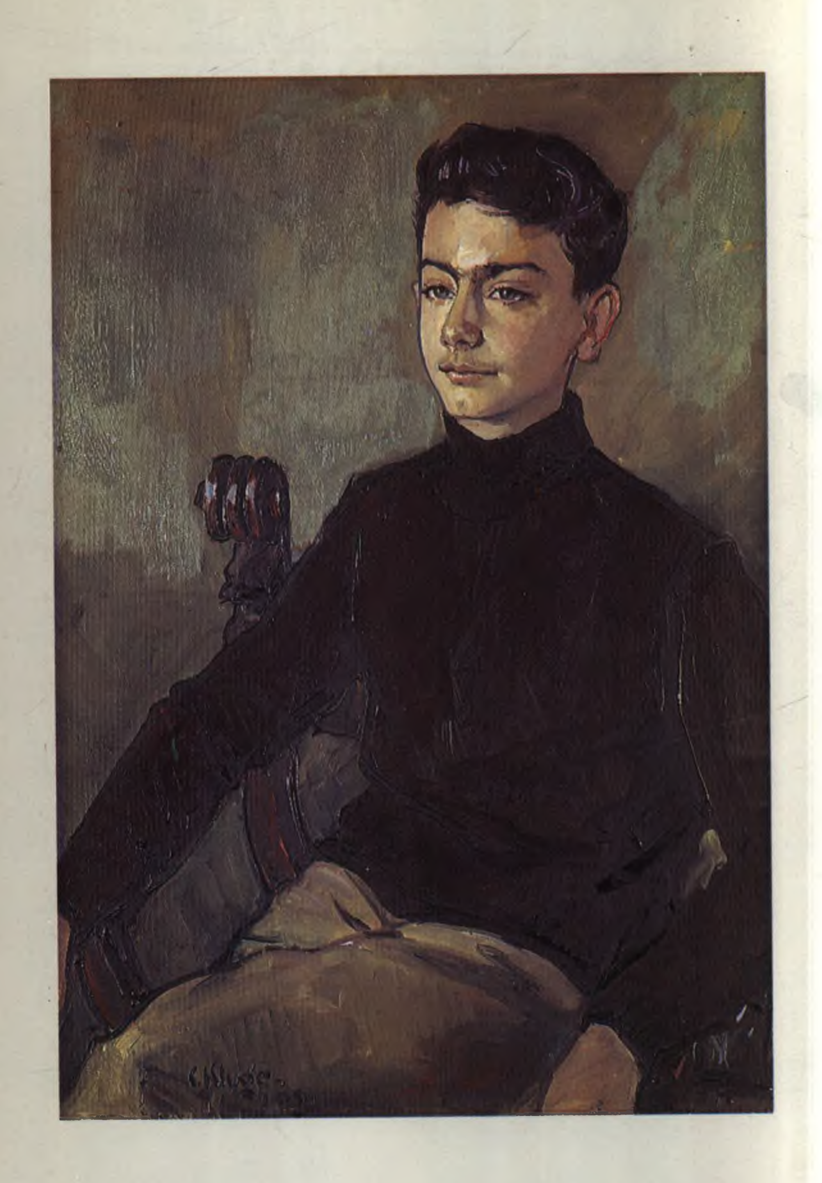
«Индейское лето» — осень в предместье Чикаго. 1978



Художник Анри Майк. 1977



Девушка из Таиланда. 1958



Миша в кресле. 1954

Много лет спустя я разыскал в Париже состарившегося Леруа, и мы стали близкими друзьями. Сейчас ему девяносто лет, но это не мешает ему активно разрабатывать мысли друга молодости, скончавшегося в Нью-Йорке в 1955 году.

Издавая свои труды, Леруа сталкивается с влиятельным сопротивлением католического духовенства, продолжающего видеть в Тейяре де Шардене вопреки его всемирной известности опасного еретика. Ватикан прилагает немалые силы, чтобы по крайней мере в Европе о Тейяре писалось и говорилось как можно меньше.

Недавно под заглавием «Паломник Будущего» Пьер Леруа опубликовал отрывки из переписки Тейяра де Шардена с друзьями двадцатых — тридцатых годов. Приведенные им цитаты ярко отражают протест Тейяра, временами доходивший до грани полного разрыва с католической иерархией. Леруа раскрывает расхождения Тейяра с католическим миром в самих основах христианской религии.

Он пишет, что в 1925 году «приговор Ватикана упал как нож гильотины. Тейяр был обязан покинуть Париж и оставить свою кафедру геологии».

«Мне дали шесть месяцев для окончания моих исследований и подготовки к возвращению в Китай к следующей Пасхе».

„On me laisse encore six mois pour liquider mes traveaux en coures et préparer un re-départ en Chine à Paques prochain".

«Как бы мне хотелось чувствовать силу, а с ней и радость сознания того, что творишь лучшее».

«Не трус ли я (соглашатель), позволяю сломить себя, принести в жертву?..»

„Ce que je voudrais, c'est avoir cette force et aussi cette joie profonde qui se puise dans la certitude qu'on fait le mieux".

„Est-ce que je ne suis pas un lâche (conventionnaliste), au fond, en me laissant briser (sacrifier)?"

«Я испытываю все большую моральную и интеллектуальную неудовлетворенность нынешними формами Ордена и церкви. Порой давление на мой ра-

зум со стороны священнослужителей становится столь невыносимо тяжелым, что мною овладевает чувство протеста (бунта), — какая радость восстать против всего, что душит тебя».
„Je me sens me fixer de plus en plus dans l'état d'insatisfaction intellectuelle et morale dont je vous ai déjà parlé vis-à-vis des formes présentes de la Compagnie et de l'Eglise... A certains moments ... je sens si lourdement peser sur mon esprit le poids du corps ecclésiastique que je me sens traversé par des éclairs de révolte. La glorieuse joie de la révolte contre ce qui étouffe".

«Я все яснее вижу то немногое, во что я верю. Во-первых, — и это главное — значение Мира. И во-вторых, Христос необходим, чтобы дать этому Миру содержание, сердце и образ... Мне встречалась полдюжина разных людей, для которых христианство (то, каким его преподают) превратилось либо в мертвый, ненужный груз, либо в религию, к которой никто не думает обращаться, ибо от нее нечего ожидать ответа на наши сегодняшние вопросы».
„J'ai vu plus distinctement les seules choses auxquelles je crois: il n'y en a pas beaucoup. Ce sont premièrement et fondamentalement, la valeur du Monde: et deuxièmement la nécessité de notre Christ pour donner à ce Monde une consistance, un coeur et un visage ... J'ai rencontré une demi-douzaine d'esprits divers, pour qui le christianisme (communément enseigné) était devenu soit un fardeau écrasant pour la vie, soit un poids mort et inutile, soit la religion qu'on ne pense même plus à interroger, parce qu'il n'y a rien à attendre d'elle pour répondre à nos questions d'aujourd'hui".

«Не только критика, но даже и приговор мало на меня действуют. Я намерен продолжать свой труд, как делал это и раньше».
„Aucune critique, ni même condamnation ne m'affecte beaucoup ... En ce qui me concerne, je pense continuer mon effort exactement comme par le passé".

«Перед Богом и (надеюсь) из любви к нему я клянусь никогда не складывать оружия... Отныне един-

ственной целью моей жизни будет разорвать кольцо, в которое христиане — «дети Света» (горькая ирония!) — заключили Дух. Мне нечего терять, настаивая на своем до конца. Мы гибнем, потому что нет никого, кто пожертвовал бы жизнью ради Истины».

„En face de Dieu et (j'espère) par amour pour Lui, je me jure de ne jamais désarmer. ... L'unique but de ma vie, à partir d'aujourd'hui, sera ... de travailler à briser le cercle où, par une ironie amère, les „enfants de lumière" ont enfermé l'Esprit ... Je n'ai rien à perdre à pousser les chances jusqu'au bout. Nous mourons de n'avoir personne qui sache se faire tuer pour la Vérité".

«Различие между Римом и мною в том, что наши представления о Мире не просто не совпадают, — они противоположны. Это борьба между застойным пессимизмом и живительным оптимизмом. Я прихожу к мысли, что единственный выход из моего положения — жить, хотя бы временно, как «свободный воин».

„Nous différons, Rome et moi, par deux représentations du Monde qui ne sont pas seulement complémentaires, mais contraires. C'est une lutte ... entre un pessimisme statique et un optimisme progressif... Je finis par penser que la seule solution, dans mon cas, est de continuer à vivre en „freelance", au moins provisoirement".

П. Леруа приводит отзыв Тейяра де Шардена на критику священника Марешаля, чей авторитет был признан всеми:

«Такое впечатление, что мысль долго держали взаперти и она утратила всякое представление о прелести свежего воздуха».

„... Donnent l'impression d'une pensée qui, à force d'avoir été tenue dans le renfermé, a perdu le sens et la saveur du grand air".

О миссионерах в Китае:

«Они прибывают сюда с уверенностью в том, что всякая языческая вера — вредное древо, которое не-

обходимо вырвать с корнем. После этого они насаждают некую «искусственную религию», лишенную естественного ствола».

„Ils arrivent ici avec l'idée que toute religion païenne est un arbre mauvais à déraciner... Alors ils font pousser... une sorte de „religion artificielle" qui n'a pas de tronc naturel".

«Идеи интересуют меня больше, чем геология... Я чувствую все больше, что действительный смысл моей жизни — это борьба за определенную религиозную концепцию Мира... Я приехал сюда, дабы «говорить», набрав силы».

„Les idées m'intéressent plus encore que la géologie... Je sens de plus en plus que le véritable goût de ma vie est dans la lutte pour une certaine conception religieuse du monde... Je suis venu ici pour „être plus fort" pour parler".

«Я никогда не смирюсь с тем, чтобы замкнуться в одной науке. Для меня научное исследование и духовные поиски сливаются воедино, как общая сила».

„Je ne me résignerai jamais à me confiner dans la pure sciense. Pour moi, recherce scientifique et effort „mystique" ne font qu'une seule puissance".

«Мне хотят запретить говорить, не выслушивая меня. Они хотят, чтобы я замолчал, так как меня слишком охотно слушают те, кого они хотят держать в невежестве и послушании... Осмелюсь сказать, что, в сущности, я борюсь за спасение моей веры...

Мне нужен выход, иначе я не отвечаю ни за что... Я не озлоблен, я стараюсь понять».

„On veut m'empêcher de parler, sans m'entendre. On veut que je me taise parce que je suis trop facilement écouté de ceux qu'on voudrait garder ignorants et sages... J'oserais dire que je lutte, tout au fond, pour sauver ma foi...

Il me faut une issue: sinon je ne réponds plus de rien... Je ne suis pas aigri, je cherche à comprendre".

«Я убежден, что христианство — это действительно выход для энергий, имеющихся во Вселенной. В то же время, я уверен, что евангельское учение, сведенное к идеям искупления, смирения, не та религия, в которой мы сейчас нуждаемся... Лишь добавив к этим основам веру в ценность Мира и человека, мы сохраним связь с воскресшим Христом».
„Autant je suis persuadé que le Christianisme est l'issue véritable ouverte aux énergies contenues dans l'Univers, autant je crois qu'un évangélisme de simple résignation, de simple expiation, de simple pitié, n'est plus la religion dont nous avons besoin... c'est en ajoutant plus explicitement à ces éléments la foi en la valeur du Monde et de l'effort humain que nous resterons en contact avec le Christ ressuscité".

«Основа моего душевного спокойствия в том, что антихристианский кризис, через который я прошел, как будто кончился. У меня создается впечатление, что я «всплыл» над своим Орденом и над определенным представлением о христианстве».
„Le fond de cette paix, c'est que l'espace de crise antichrétienne que j'ai traversée... paraît avoir pris fin. J'ai l'impression d'avoir „émergé" de mon Ordre et d'un certain christianisme".

«Со мною как будто хотят «беседовать». Я не думаю, чтобы мы могли сойтись по существу. Всякий компромисс был бы в большей или меньшей степени обманом... Трансформация моих взглядов о ценностях слишком кардинальна, чтобы я мог чистосердечно примкнуть к какому-нибудь официальному религиозному течению наших дней... «отныне я смогу быть лишь своего рода духовным авантюристом».
„Il paraît qu'on est prêt à „causer" avec moi. Je ne crois pas qu'on puisse s'entendre au fond. Tout pacte serait plus ou moins un leurre... La transposition des idées et des valeurs est trop complète et trop définitive en moi pour que je puisse sincèrement adhérer à aucun des courants religieux officiels d'aujourd'hui... je ne saurais désormais être autre chose qu'une sorte d'aventurier spirituel".

«По правде говоря, временами меня так далеко заносит, что я задаю себе вопрос: католик ли я еще и даже христианин ли я?»
„A vrai dire, il y a des moments où je me sens dériver si loin que je me demanderais presque si je suis encore catholique, même chrétien?"

«Я все меньше расположен смиряться с «недостатками» церкви, особенно когда эти недостатки свидетельствуют об отсутствии или ошибочности общей перспективы».
„Je me sens de moins en moins disposé à me résigner aux „défauts" de l'Eglise, surtout quand ces défauts... manifestent une absence ou une erreur de perspective d'ensemble".

КОНЕЦ ВОЙНЫ

За три месяца, проведенных нами в Пекине, положение в Шанхае резко ухудшилось. Снабжение города усложнялось с каждым днем, присутствие японских войск, окружавших французскую концессию, становилось все более давящим.

За чертой концессии, где располагались японские казармы, надо было быть начеку, не забывать, проходя мимо часового, поклониться ему в пояс. В противном случае он считал себя вправе, вскинув винтовку, уложить невежу на месте. Часовой — олицетворение власти императора Японии, которому всякий обязан кланяться.

По мере того как американцы отвоевывали остров за островом, приближаясь к Японии, отчаяние и озлобление японцев становилось все более ощутимым.

На наших соседей Сакабэ было жалко смотреть.

Увидя мои пекинские этюды, мадам Сакабэ стала уговаривать меня устроить совместную выставку ее и моих работ, говоря, что в одиночку она на это ни за что бы не решилась. Мои отношения с четой Сакабэ были столь дружественны, что я согласился вопреки предупреждениям близких.

Наша выставка закончилась полной неудачей. Ни одной проданной вещи. Завсегдатаи моих выставок как вымерли. Никого. Военные японцы приходили, смотрели строго, без улыбок и молча уходили.

К счастью, спустя несколько месяцев, устроив собственную выставку, мне удалось привлечь своих покупателей. То были в основном шведы, норвежцы и французы. Немцы давно перестали покупать мои этюды.

Я писал много портретов. Среди заказчиц попадались и бывшие «дансинггерлс», вышедшие замуж за знатных иностранцев.

Один из моих клиентов заказал портрет влиятельной китаянки. Будучи любовницей китайского мэра «Великого Шанхая», эта красавица дарила свои милости

также и министру внутренних дел, когда тот из Нанкина приезжал в Шанхай. Мой клиент счел полезным для своих дел преподнести ей этот изысканный подарок, но попросил меня, если моя модель спросит о стоимости портрета, назвать ей десятикратную сумму.

Среди моделей памятна мне и молодая русская женщина с удивительно трогательным лицом. Было известно, что она зарабатывает огромные деньги проституцией и пользуется особым успехом у богатейших китайцев. У нее были нежно-голубые глаза и перламутровый цвет лица.

Однажды за работой, не выдержав, я спросил ее, как это она выносит такую жизнь. Ничего не ответив и сосредоточенно размышляя о чем-то, она встала и отлучилась ненадолго. Вернувшись со шприцем в руке, она сделала себе укол и лишь тогда ответила: «Вот так я могу переносить свою жизнь».

Понемногу сгладив свое трагическое выражение, она добавила с шутливым вызовом: «Представьте себе, мне необходимы большие средства».

Вскоре я узнал стороной, что приют для русских детей существует всецело благодаря ее субсидиям.

Ее появление в французском клубе вызывало всеобщий восторг, так элегантны были ее наряды и очаровательные шляпки.

Ω

Еще до войны одним из членов нашего клуба любителей живописи числился некто Дональд Моррисон. Этого шотландца и его жену японцы засадили в лагерь в начале сорок второго года. Дональд захватил с собой кисти и краски, но через год ему стало недоставать то красок, то полотна, и он обращался ко мне, прося прислать необходимое в разрешенных посылках.

Однажды ко мне явился какой-то русский паренек, работавший на прилегавшей к лагерю мыловаренной фабрике, и сказал, что он без малейшего труда может перебросить через заграждение пакетик моему другу.

Я спросил, не могу ли и я повидать Дональда и поговорить с ним. Оказалось, что это очень просто. Он набросал мне на клочке бумаги, по каким дорогам и мостикам мне можно добраться до его фабрики, обогнув лагерь, и вызвать Моррисона, работавшего на кухне.

Наутро, прихватив все необходимое Дональду, я на велосипеде отправился за город. Добравшись до лагеря, я запутался среди огородов. Выбравшись наконец где-то у проволочного заграждения, я обратился к проходившему по ту сторону ограды европейцу с просьбой вызвать Моррисона из кухни. «Кухня совсем не здесь, — сказал он, — но вы подождите» — и надолго исчез. Наконец я увидел своего друга наполовину скрытого кустами. Он махал руками, крича, что нас заметили и мне надо бежать. Повернув велосипед, я пустился поскорее в обратный путь. Но, добравшись до асфальтной дороги, увидел японских солдат, выскочивших из ворот и бежавших ко мне, застегивая на ходу ремни.

Захотелось было нажать на педали и что есть мочи умчаться от них. Вместо этого я почему-то повернул в сторону моих преследователей и медленно поехал им навстречу. Что толкнуло меня поступить именно так, я не могу объяснить. Времени на размышления у меня так или иначе не оставалось. Меня схватили, спешили, втолкнули в ворота, а там в какой-то барак.

Я был моментально раздет догола и моя одежда обыскана. Первое, что они нашли, был план-набросок мыловара, к счастью неразборчивый.

Солдат, едва говоривший по-английски, спросил, что я тут делаю. «Ищу сюжеты для живописи». Найденные при мне тюбики красок как будто подтверждали мои слова. «Знаете ли вы кого-нибудь в этом лагере?» «Нет, не знаю никого», — вновь соврал я. Если бы им пришло в голову проверить мой ответ по лагерным книгам, где моя переписка с Моррисом была, несомненно, отмечена, мне бы несдобровать. Но вот они извлекли из кармашка моего бумажника во много раз сложенный листок рисовой бумаги. На нем мой друг, секретарь посольства Сакабэ, написал по-японски, что я художник и он просит японские власти оказывать мне всяческую помощь. Эту тонюсенькую бумажку он вручил мне год назад, когда я собирался в Пекин. Я забыл о ней, она мне ни разу не понадобилась. И вот теперь эта дружеская услуга сыграла свою решающую роль.

«Теперь иди!» — гаркнул солдат, подтолкнув меня дулом пистолета, которым он, допрашивая, тыкал мне в ребра.

Выведя меня голого из лагеря, он остановился у плаката за воротами. «Читай!» Там по-английски и по-китайски было объявлено, что лица, шляющиеся без дела вблизи лагеря, будут наказаны по законам военного времени. «Прочел?» — «Прочел». — «Тогда идем». Пришлось задуматься, какое именно наказание ожидает меня.

Когда же меня втолкнули снова в барак, там находился офицер с рекомендацией Сакабэ в руке. Свирепо, с гортанными выкриками он произнес на своем языке довольно длинную речь, сопровождая ее жестами, благодаря которым я понял, что, не будь этой бумажки, он не колеблясь ни минуты снес бы мою голову и что он плохо понимает собственную слабость, мешающую ему поступить именно так. С особым завыванием и яростной жестикуляцией он приказал выгнать меня вон. Двое солдат подхватили меня под мышки, третий подобрал мою одежду, и меня вытолкнули за ворота. Мои доспехи полетели вслед, и велосипед сам по себе покатился из ворот довольно далеко.

Только тогда я полностью осознал, что могло и должно было со мной случиться, и поспешил в раздумье вернуться домой.

Ω

Последовали переговоры между французским посольством в Пекине и японским правительством о возврате «китайскому народу» нашей французской концессии в Шанхае. Под словом «народ» подразумевалось марионеточное правительство, созданное японцами в Нанкине. Великодушие Виши объяснялось желанием его посольства в Пекине проявить по собственному почину усердие перед Империей восходящего солнца — союзницей Германии.

Так наша столетняя концессия прекратила свое существование. Одновременно в китайские руки перешел и наш муниципалитет. К всеобщему удивлению, из Нанкина в Шанхай прибыли всего два-три чиновника для управления городом. Один из них, весьма сведущий и, как выяснилось, неподкупный, возглавил технические службы. Он начал с того, что раздал нам для заполнения анкетные листы, где требовалось указать и степень образования. Из этих анкет выясни-

лось, что среди коллег, хотя они и были начальниками технических отделов, я единственный обладал дипломом высшего учебного заведения. Поэтому, а может быть, и потому еще, что я не брал взяток, новый директор назначил меня главой ряда строительных отделов.

Это предпочтение, оказанное мне, вызвало среди сослуживцев бурю негодования. Подумать только, меня, не француза, с жалким четырехлетним стажем, поставить распоряжаться ими, прослужившими по два, а то и три десятка лет!

Всеобщая зависть, а с ней и злоба окружили меня. Все было поставлено мне в упрек, намекали и на мою выставку с японкой Сакабэ. Мое возвышение объяснили близкими знакомствами в консульстве и в пекинском посольстве. И то, что я недурно подрабатывал живописью, также бесило моих коллег.

Мне тогда открылась особая завистливость и мелочность чиновной братии, мечтающей только о продвижении по службе.

Добавлю еще, что мои сослуживцы в большинстве своем были людьми необразованными. Так, смазчик с коммерческого судна, осевший когда-то давно в Шанхае и, пройдя за тридцать лет службы многие должностные ступени, возвысившийся до звания «главного технического агента», обратился когда-то к служащей, поставлявшей в отделы необходимое оборудование:

— Вот что, дорогая, достаньте-ка мне эту штучку... ну, знаете, как посмотришь, сразу видно — холодно или жарко.

— Вам нужен термометр?

— Ну, не знаю... Только с его помощью можно судить о погоде.

— Вы имеете в виду барометр?

— А кто его знает, термометр — барометр! Мне бы такой, как в бюро у Дюпона, на нем написано «Chaud et froid».

— Как это?!

— Очень просто, вы сами поглядите, там стоит с одной стороны С, а с другой — F*.

---

* С и F обозначало «Цельсий» и «Фаренгейт». «Chaud et froid» — «Жарко и холодно» *(франц.)*.

Нам, служащим, ничто не мешало оставить службу, но никто этого не делал, и не из опасения потерять жалованье — с падением местной валюты оно почти ничего не значило, — а из-за ежемесячного мешка отличного риса, выдаваемого китайской администрацией. Этот рис постепенно исчезал даже с черного рынка.

В тяжкой атмосфере постоянного ожидания чего-то худшего однажды утром разнеслась весть: американцы сбросили на японский город Хиросиму атомную бомбу, уничтожив почти все его население. Два дня спустя той же участи подвергся Нагасаки.

Каюсь, моим первым ощущением, несмотря на гибель сотен тысяч людей, было чувство облегчения. Война не могла длиться долее, неся за собой все новые чудовищные жертвы. Всем была известна решимость японцев сражаться до последнего. О капитуляции Японии не могло быть и речи. Не будь этих бомб, война длилась бы еще год, если не больше.

За исключением нескольких человек, погибших в «Бридж хауз», среди сидевших в шанхайских лагерях мало кто серьезно пострадал. Рассказывали, что какие-то алкоголики даже исцелились за три года сухого режима. Не такова, однако, была участь военнопленных, попавших в Японию, Гонконг, Индокитай и на Яву. Там жестокость и непредставимо безжалостные условия существования стоили жизни тысячам.

Зная это, мы не могли сочувствовать Японии...

Война на востоке кончилась. Последовал год радостных встреч. Вернувшихся из лагерей принимали повсюду.

В день освобождения Моррисоны обедали у нас. Они не могли надивиться, глядя на салфетки и сервировку, — наши тарелки были не из алюминия. Все им казалось невероятно вкусным. Они рассказывали о лагерном рисе, кишевшем червями, поначалу они просеивали его, но впоследствии решили варить как есть, поскольку черви содержали протеин.

Ω

В конце сорок пятого года я выставил около тридцати пейзажей и несколько портретов.

Придя утром в галерею, я увидел стоящего посередине мужчину лет пятидесяти. Он внимательно разгля-

дывал мои работы, поддерживая рукой выдававшийся вперед подбородок. Осмотрев все неторопливо, он заявил, что хотел бы купить несколько полотен. Выбрав с дюжину, он сел за стол, вынул чековую книжку и спросил, сколько он мне должен. Скромность названной мной суммы, видимо, его удивила, и он попросил меня добавить еще три-четыре этюда по моему усмотрению. Затем ему захотелось купить выставленный портрет девушки, — он досадовал, что портрет не продается. Тогда он предложил мне лететь с ним через три дня в Америку, чтобы там написать портрет его жены. Но, узнав, что я русский эмигрант, которому для выдачи визы в США требуется месяц, он попросил меня пообещать, что весной следующего года, когда он вернется в Шанхай со своей женой, я непременно буду в Шанхае.

Так и случилось: в апреле сорок шестого года он оказался в Шанхае, и не только с женой, но и с десятком служащих, доктором его фирмы, адвокатом и парой журналистов. Многие прибыли с женами. Они прилетели на транспортном военном самолете, находившемся в его личном пользовании. Нормальное воздушное сообщение с Китаем еще не было восстановлено.

Этого американца — его звали Корнелиус Старр — хорошо знали в Шанхае еще с двадцатых годов. Он первый открыл в нашем городе американское страховое общество. До него все они были английскими и редко соглашались страховать китайские предприятия. При этом их страховые премии были очень высокими. Старр же не гнушался никакой клиентурой и довольствовался нормальными премиями. Невзирая на враждебность и козни конкурентов, он быстро развернул дела в Китае, а затем и в Америке.

Купив дышавшую на ладан американскую газету и переименовав ее, он с помощью приглашенных опытных журналистов стал выпускать ее вскоре и на китайском языке. Всякое его начинание крепло, расширялось, пользовалось растущим успехом по обе стороны океана. Представительства его фирмы распространились по многим странам, центральное бюро находилось в Нью-Йорке. Обосновавшись где-либо, его отделения возводили небоскребы — в них размещались и его предприятия.

Вернувшись в Шанхай, Старр сразу же позвонил мне, чтобы я сговорился с его женой о портрете.

На их шанхайской вилле меня встретила молодая улыбающаяся женщина лет тридцати с пышными волосами огненного цвета.

Позируя, Мэри Старр рассказала, как во время войны муж выписал из Англии какого-то знаменитого портретиста, написавшего ее портрет во весь рост, но в такой драматической позе, что портрет был незамедлительно упрятан на чердак. Чуждая аффектации, она располагала к себе открытостью и простотой обращения. В ее английской речи не было и следа американского акцента.

Я написал один ее портрет в профиль, другой — в труакар. То были этюды головы и плеч. По ее же просьбе я написал еще три портрета жен сотрудников ее мужа.

Старр купил также несколько моих пейзажей. Я отвез его к Подгурскому, и Старр скупил почти все, что находилось в его мастерской. На вопрос, зачем он покупает такое множество картин, он с чисто американским простодушием, граничащим с наивностью, сказал мне, что кроме своей жены больше всего на свете любит художество. К тому же, добавил он, не следует забывать о рождественских подарках...

Стояли теплые весенние дни, я усадил свою модель на террасе, выходившей в сад. Дюжина молоденьких китаянок, сидя в ряд на крошечных бамбуковых табуретках, медленно пятилась, пропалывая казавшийся и так безупречным газон. Время от времени моя натурщица обращалась к ним по-китайски с шутливыми замечаниями, вызывая у них звонкий взрыв смеха.

С китайскими слугами госпожа Старр говорила на беглом пекинском наречии так, будто она беседовала с добрыми друзьями.

Вот, кажется, и все, чем запомнилась мне тогда эта очень приветливая и гостеприимная женщина. В ее обществе всякий чувствовал себя просто и непринужденно.

Долго помнились мне ее великолепные серые глаза, весело глядевшие из-под высокого лба.

Ω

Как раз в это время один знакомый сообщил мне, что место архитектора в строительной фирме в Гонконге вакантно и что мне стоило бы обратиться к находившемуся в Шанхае генеральному директору этой фирмы. Недолго думая я отправился к нему. Он предложил мне поехать поскорее в Гонконг, чтобы в течение шести месяцев заменить их архитектора — бельгийца, уезжавшего в Европу в отпуск после военных лет, проведенных в этой английской колонии. Я с радостью согласился. Как ни увлекала меня живопись, возможность вернуться к созиданию в трех измерениях разом всколыхнула во мне страстные мои мечты студенческих лет.

До отъезда оставался месяц. Мне удалось добыть только одно место в самолете, Тане с Мишей приходилось добираться морем. Год после окончания войны самолеты летали редко и были переполнены.

Свои скромные сбережения мы решили увезти нелегально, спрятав их в один из трех ящиков с книгами, одеждой, домашней утварью и кучей Мишиных игрушек. Для полной конспирации Таня зашила их в брюхо плюшевого медведя.

Ящики были перевезены на пристань, и мы отправились туда втроем на таможенный досмотр.

Симпатичный таможенник-китаец погладил нашего шестилетнего сына и приказал помощникам открыть ящики с игрушками. Извлекши медведя, он стал, рыча, пугать им Мишу и, разойдясь, бросать его в воздух.

Тут мой мальчик, не выдержав, бросился отнимать мишку, выкрикивая, что таможенник не знает, насколько этот медведь драгоценен. Вовремя подхватив сына, Таня отвела его в сторону...

За год до этого я получил заказ на большой портрет лейтенанта американского флота в военной форме. А надо сказать, что в эту пору мой брат всячески пытался устроиться на хорошо оплачиваемую службу американской военной администрации. Пользуясь случаем, я обратился к лейтенанту, не знает ли он кого-нибудь в отделе найма служащих.

«Как же, — отозвался моряк, — мой, можно сказать, лучший друг, полковник, заведует этим отделом».

Мы пригласили полковника с лейтенантом и нескольких наших друзей на ужин, посадив рядом с полковником Нину Соколову, даму исключительной красоты. Ужинали весело, и наш вояка, осушая стакан за стаканом, так напился, что, едва выбравшись из-за стола, добрался до кровати и тут же захрапел. Дав поспать часок, мы помогли ему спуститься по лестнице к ожидавшему его за рулем джипа водителю в военной форме.

Каково же было мое удивление, когда на следующий день он позвонил мне, благодаря за такой чудный вечер. Он уверял, что никогда в жизни так не веселился, что мои друзья — ангелы и он теперь не знает, как нам отплатить за такой замечательный прием. Я тут же дал ему понять, что нет ничего проще: достаточно найти хорошее место для моего брата Михаила. «Шлите его ко мне и не беспокойтесь, уж я постараюсь для вашего Майка».

Так мой брат сделался помощником начальника службы, распоряжавшейся движимым имуществом армии Соединенных Штатов в Шанхае. Вскоре его босс, симпатичный офицер, взвалил все хлопоты на брата, неожиданно проявившего редкие административные способности.

Один из сослуживцев Миши, возвращаясь из Шанхая в Америку, передал ему свое агентство по сооружению ангаров калифорнийской конструкции.

В разгаре наших приготовлений к отъезду меня внезапно уложил на несколько дней сильный приступ люмбаго. Это случилось не впервые, доктор, к которому я обратился, уверил меня, что все дело в недостатке в организме витамина B_1, и продал мне большую коробку со склянками этих витаминов. Свой лекарственный запас он прихватил из так называемого «Surplus», то есть «избытка» американской армии.

Надпись на скляночке предписывала: «One a day» («По таблетке в день»), но доктор уверил меня, что это доза для раскормленных американцев, мне же он прописал по восемь таблеток каждое утро, добавив, что я почувствую себя «как тигр»!

Люмбаго исчезло, и я действительно ощутил замечательный прилив сил и энергии.

Ω

Мы в числе первых покидали Шанхай. Несмотря на сопротивление армии Чан Кайши, наступление коммунистов развивалось, угрожая Шанхаю.

Около трех тысяч русских, поверив сталинской амнистии, уплыли на советских судах во Владивосток. Среди них — мой друг и учитель художник Подгурский и брат моей мачехи, Димитрий Кекуатов, увезший с собой отцовские сабли и набор серебряных кубков с двуглавым орлом.

Патриотический подъем военных лет у русских шанхайцев, подобный коллективному опьянению (не у всех, как я уже писал), был таков, что, не будь я захвачен заказами на портреты, выставками, возможностью заняться архитектурой, непременно бы последовал примеру тех, кого влекла к себе родина. Мне и по сей день не понятно, почему я не решился на этот шаг.

Значительно позже мы узнали, что большинство уехавших в Россию, едва только высадились, были арестованы и сосланы в лагеря. Митю Кекуатова освободили девять лет спустя...

Мне предстояла разлука не только с родными и с близкими друзьями, — я покидал удивительно живописные окрестности Шанхая, где куда ни глянь сюжеты один заманчивее другого.

Восемь лет назад, расставаясь с Парижем, как мне казалось, навсегда, за несколько часов до отъезда в Марсель, когда чемоданы еще не были как следует упакованы, я исчез. Я не мог покинуть свой Париж, не обойдя в последний раз старинные улочки вокруг своей Академии и те, что ведут к собору, не перейдя несколько раз по мостам Сену и не простившись с любимыми набережными.

То же случилось и перед отъездом из Шанхая. Не сказав ничего жене, я внезапно отправился прощаться с бесконечными огородами, где поколение за поколением любовно хлопочет, извлекая из бесценной земли свое пропитание. Тропинки, по которым крестьяне с утра до ночи носят на коромыслах ведра, так узки, что на них легко оступиться. Но как ни драгоценна каждая пядь земли, немалая ее часть жертвуется на могильные курганы, вскармливающие корни причудливых деревьев. Группы жилищ восхитительной формы, со слегка

вздернутыми по концам крышами из серой черепицы прячутся в тени вековых сосен. Попадаются запущенные монастыри.

Обычно я отправлялся на этюды до зари. Разведав желанный сюжет заранее, я расставлял штатив и принимался за работу, когда первые лучи солнца окрашивали в нежные тона отдаленные силуэты жилищ. По мере того как исчезала утренняя дымка, я переходил на крохотные каналы с перекинутыми через них каменными мостиками. И лишь когда утро окончательно побеждало потемки, я заканчивал этюд контрастными тонами ближайших предметов.

Нелегко мне было расстаться с этим благодатным краем, превратившим меня из любителя живописи в опытного художника.

Вернувшись домой, я узнал, что звонил Старр и просил позвонить ему.

— Если я не ошибаюсь, вы собираетесь в Гонконг? Мы тоже летим туда через два дня, и вы мне сделаете одолжение, если присоединитесь к нам. Наш самолет недостаточно нагружен, возьмите с собой как можно больше мебели.

Легко вообразить наше ликование — мы могли лететь все вместе! Так ранним июньским утром по милости моего мецената в сопровождении его свиты мы покинули наш Шанхай.

Сиденья «Дугласа» шли вдоль стен фюзеляжа, оставляя посередине довольно широкое пространство.

Расположившись в шезлонге, Старр изучал какие-то бумаги. Я подсел неподалеку и сделал весьма удачный рисунок под благоприятным для него углом, сбоку и сверху. Разглядев свое изображение с видимым удовольствием, он задал свой обычный вопрос:

— Сколько я вам должен?

Я попросил не смешить меня.

— Тогда не согласитесь ли вы взять на себя постройку моей резиденции в Гонконге? Я там купил участок с разбитой бомбой виллой и хочу, чтобы вы спроектировали на ее месте хороший дом.

Пришлось сказать ему, что я буду служить в строительной фирме и должен передать ей этот заказ.

— Лишь бы этот «джоб» исполнили вы, остальное мне не важно.

ГОНКОНГ

После бомбежки острова Пирл-Харбор японцы атаковали Гонконг. Доблестный гарнизон отчаянно сопротивлялся, но после трехдневного неравного боя англичанам пришлось сложить оружие.

Гонконг расположен на гористом острове Виктория, километров пятнадцать в длину и десять в ширину, — но отделен от материка двухкилометровым проливом. На материке против острова порядочная часть китайской земли с городом Каулун также принадлежит британской короне. До 1997 года.

Кроме претенциозной гостиницы, называемой «Пенинсула отель», построенной в прошлом веке, и небольшого европейского квартала весь Каулун в те годы населяли исключительно китайцы. Остров Виктория представляет собой гору с пологой береговой полосой, расположенной напротив Каулуна. На этой прибрежной полосе теснились здания с бесчисленными банками, импортно-экспортными фирмами, мореходными конторами с их верфями и складами. С тех пор эта отмель сплошь покрылась небоскребами.

От этого коммерческого центра расходились кварталы, буквально кишевшие китайским населением. Оно обитало и на воде: сотни лодок-сампанок, привязанных одна к другой, заполняли отдельные заливы, выстраиваясь в улицы на воде. В них рождались, взрослели, старились и умирали сотни тысяч людей.

По мере подъема на гору человеческий муравейник сменялся зоной резиденций. Тут посреди экзотического сада красовался дворец губернатора.

А чуть выше до войны имели право селиться только белые. То был англо-саксонский Олимп. Эта привилегия нарушалась лишь одним китайцем. Его называли «сэр», потому что, баснословно разбогатев на пиратстве в окружающих морях, он пожертвовал целое состояние на какое-то благотворительное заведение и король Англии пожаловал ему почетное звание.

Следует помнить, что до войны китайцы, родившиеся в Гонконге, автоматически становились подданными Великобритании. Правда, с некоторыми ограничениями в правах.

Здание, в котором находилась предназначенная нам квартира, еще достраивалось, и нас временно поселили в «Пенинсуле». Гостиница находилась в сотне шагов от причала, откуда каждые пять минут отходили пароходы в Гонконг.

Моя контора находилась неподалеку от пирса.

Директор конторы познакомил меня с уезжавшим в Европу архитектором-бельгийцем, с бухгалтером, с инженером-китайцем, ведавшим расчетами по железобетону, с полудюжиной чертежников и тремя секретарями.

Архитектор принялся посвящать меня в круг ожидавших меня дел.

Некоторые здания еще только строились, иные находились в стадии проектировки. Наше бюро вело также перестройку нескольких особняков, пострадавших в дни защиты Гонконга не столько от японской артиллерии, сколько от китайских грабителей. В домах были выломаны двери и окна, унесено все санитарное оборудование, во многих даже содран и украден паркет. Грабеж длился лишь несколько дней, пока японцы не положили ему конец без всяких церемоний.

Меня познакомили и с главой католической миссии — отцом-прокуратором. Само его звание обозначало его функцию «добывателя» средств для миссионеров, находившихся в Китае. Как я скоро убедился, он был исключительно влиятельным лицом не только среди католических учреждений, но и в финансовом мире колонии.

Вскоре мой бельгиец отплыл в Европу, и масса всевозможных дел обрушилась на меня. Контору осаждали клиенты, торопившие с исполнением их заказов, в то время как многие строительные материалы то исчезали с рынка, а то месяцами задерживались в пути из Европы.

К счастью, прогнозы моего шанхайского врача сбывались сверх ожидания: его витамины придавали мне недюжинную энергию. Я без особых усилий мог, разрабатывая проекты, одновременно диктовать письма клиентам, подрядчикам, поставщикам и различным админи-

стративным службам. Когда мне не хватало времени для бесед с посетителями, я увозил их с собой на осмотр строительных площадок.

Крайнее напряжение, труд по двенадцать часов в сутки нисколько меня не утомляли. Даже вернувшись поздно домой, я продолжал ощущать потребность во все большей умственной активности. Мозг работал с неубывающей энергией, требуя все новых усилий. Часы сна сокращались со дня на день. Бессонными ночами я погружался в чтение. Убедившись, что никакие романы меня не удовлетворяют, я принялся перечитывать Новый Завет.

Поучения Христа звучали со всей убедительностью, тогда как многое в этом древнем писании было явно посторонним и противоречивым. Казалось, стоит мне найти расшифровку всей этой запутанности, как выступит всем понятное, логичное учение.

Теперь, когда пишутся эти строки, в памяти невольно встают слова Тейяра о необходимости «продумать и передумать» основы христианского учения, в котором «таится зародыш религии, необходимой Человеку будущего».

По утрам я продолжал глотать таблетки B_1, вызывавшие такой поразительный подъем сил. Как я узнал впоследствии, они содержали кроме витаминов нечто возбуждающее. Их выдавали идущим в атаку американским воинам.

В конторе я стал замечать перемигивания моих сослуживцев, их намеки и странные замечания, из которых следовало, что успешность дел никак не зависит от честного к ним отношения, скорее даже наоборот.

В один из первых дней я обнаружил на своем столе смету подрядчика на ремонт разграбленного дома. Располагая индексом стоимости материалов, оплаты рабочих, транспорта и так далее, было нетрудно установить, что весь ремонт стоил раза в три дешевле, чем по данной смете. Я сказал директору, что нам необходимо обратиться к другому подрядчику. Это оказалось невозможным: мистер Ванг давным-давно работал и для нас и для миссии отца-прокуратора.

Надо сказать, что накануне по поводу переделки именно этого дома ко мне обратился молодой англичанин, недавно повидавшийся со святым отцом.

В пору длительного острого жилищного кризиса в Гонконге приезжим англичанам приходилось селиться в гостиницах, зачастую по нескольку человек в номере; им не разрешалось выписывать из Англии семью, покуда они не находили ей жилища.

Мой посетитель был в восторге: ему повезло, он попал на замечательного человека — нашего попа, спросившего с него скромную довоенную ренту, но при условии, что дом восстановит хороший архитектор — речь шла обо мне — из самых лучших материалов. «Отец» пояснил, что эти дома — собственность миссии, а его обязанность — следить за их сохранностью. При этом мой клиент с волнением просил меня отнестись к нему по-дружески, чтобы восстановление дома стоило ему как можно меньше. В войну он все потерял и, чтобы оплатить ремонт, вынужден залезть в ужасные банковские долги. Иначе бог знает когда он увидит жену и детей.

Пришлось мне отправиться к отцу-прокуратору.

Предупрежденный о моем посещении, он принял меня самым любезным образом, хотя и отметил мою молодость и недостаток делового опыта. Ему же, втолковывал он, нужны средства на содержание сотни миссионеров.

— Где взять деньги? — вопрошал он. — По казенному параграфу ваше архитектурное бюро должно довольствоваться пятью процентами стоимости постройки. Так неужели вас это устроит? Мы все кормимся от строительства и должны поддерживать друг друга.

Я уперся, протестуя; соглашаясь на смету подрядчика, я становлюсь сообщником вора. Слово «вор», относящееся невольно и к нему, не понравилось духовному лицу. Покраснев, он позвонил Вангу. «Вот что, ты сделаешь по такой-то смете десятипроцентную скидку. Понятно?» — И повесил трубку. После чего заявил, что это исключительно ради меня, но в первый и последний раз. Если же в дальнейшем я буду создавать ему препятствия, то он вынужден будет обратиться к другой строительной фирме.

На каждом шагу я обнаруживал, что постройки моего предшественника проектировались так, чтобы обошлись как можно дороже. С каждым днем я все больше убеждался в окружавшем меня постоянном мошенничестве.

Мы строили добавочное родильное отделение при больнице, принадлежавшей французским католическим сестрам. Уже был заложен фундамент, когда настоятельница попросила меня заехать к ней. В присутствии сестры-экономки мать Ангелина изложила свои затруднения: число рожениц постоянно росло, и предусмотренный проектом родильный дом оказался мал. Им хотелось знать, возможно ли на том же фундаменте добавить еще один этаж. Проект был мне хорошо знаком, и я счел своим долгом заверить их, что это возможно, ибо фундамент может выдержать значительно больше, чем один дополнительный этаж, и что они вправе потребовать от подрядчика Ванга добавить этот этаж совершенно бесплатно. Мне пришлось объяснить наивным женщинам, как их надули со сметой.

— Ведь только подумать! — восклицала старушка сокрушенно. — Сколько лет я ничего не строила, не посоветовавшись с отцом-прокуратором!

После этого обратились ко мне и итальянские сестры. Они задумали строить новую школу, и я очутился посреди трех хорошеньких монашенок, посвятивших меня в свою затею. Нашу фирму им порекомендовала миссия прокуратора. Пришлось мне и им выложить свои опасения. Оказалось, что прокуратор назвал не только наше бюро, но и своего излюбленного подрядчика.

Поникнув головами, монашенки отложили на время строительство школы.

Однажды директор нашего бюро пригласил меня на ужин с каким-то важным заказчиком, управляющим отделением в Гонконге крупной лондонской фирмы. Он намеревался возвести на самом берегу моря здание в двадцать этажей. Англичанин показался мне рубахой-парнем. На следующее утро мой директор, захлебываясь от восторга, поведал мне, что «все на мази», нам не надо быть дураками, вчерашний наш гость в курсе дела и нам остается только спроектировать небоскреб как можно дороже. К сожалению, без Ванга не обойтись, мечтательно, но и с досадой добавил он. Для Лондона потребуются две-три фиктивные сметы, мы это сделаем. Они там ничего толком не знают о наших ценах... И так далее.

Подмигивая и похлопывая меня по плечу, он назвал приблизительную сумму, которую принесет этот

«джоб» мне лично. Оказалось, что не только мы, но и наш заказчик готов участвовать в грабеже своей фирмы.

В тот же день я послал в Шанхай главному директору телеграмму с просьбой немедленно освободить меня от должности.

Кроме того, я обратился со своими проблемами к заведующему разрешениями на постройки. Весьма озабоченный услышанным, он начал с того, что его отдел наблюдает за устойчивостью строящихся зданий и что проекты моего предшественника никогда не вызывали опасений в этом отношении. Продолжая, англичанин как-то странно улыбнулся и начал было о нормальной стороне дела, но осекся, попросил меня подождать и удалился.

Вскоре он вернулся вместе с взволнованным коллегой — тот весьма недружелюбно представился начальником технических служб. Он был осведомлен о причине моего посещения. Все заметнее волнуясь и повышая тон, он утверждал, что уехавший в отпуск архитектор хорошо ему известен как заслуженный гражданин колонии, что все его знают, чего он не может сказать обо мне, и что я поступаю по меньшей мере неблагородно, высказывая такие обвинения о коллеге, которые могут иметь официальные последствия. Заключительные слова он выкрикивал чуть не с пеной у рта.

Я начинал догадываться о нитях, связывавших ловких дельцов с представителями власти.

В конторе меня ждала телеграмма из Шанхая: глава фирмы сообщал, что приедет в Гонконг разобраться во всем, но не раньше чем через три недели.

В последовавшие дни я обнаружил, что, за исключением возвращавшихся в свою колонию англичан, остро нуждавшихся в жилище, нашими клиентами были только католические учреждения, тесно связанный с нами банк и несколько местных директоров, не гнушавшихся делить с нами добычу за счет своих же предприятий.

Рядом с нашей конторой находился французский банк. Я перестраивал виллу директора этого банка. Однажды, заглянув к нему по делу, как обычно, без предупреждения, я застал стоявшего с ним посреди кабинета китайца атлетического сложения.

— Разрешите мне представить вас его величеству Бао Даю, — сказал директор.

Уверенный, что он шутит, я рассмеялся и крепко хлопнул «китайца» по спине. Тот в гневе буквально отпрыгнул назад.

— Месье Клуге! — воскликнул банкир. — Я вас прошу извиниться перед его величеством. Вы же знаете, что это император Анама!

Ω

Как-то проходя мимо лавки антиквара, я обратил внимание на выставленную в витрине небольшую картину, написанную на шелке. Она показалась мне старинной, что-то толкнуло меня зайти в лавку и купить за бесценок это старинное произведение искусства. Антиквар спросил, где я работаю.

В час, когда все конторы в Гонконге закрывались и мои помощники отправлялись домой, я увидел моего антиквара, скромно стоявшего в прихожей с рулонами под мышкой. Он заверил меня, что не рассчитывал на продажу и зашел исключительно с целью отвлечь меня от тяжести трудов, и просил взглянуть на его картины.

Обращался он ко мне со всеми знаками вежливости жителей Южного Китая, прикрывал ладонью рот, чтобы не обеспокоить собеседника своим дурным дыханием. Замечу, что у японцев на сей предмет иные обычаи: внимая начальнику, японец с шумом всасывает воздух, как бы вдыхая нечто драгоценное, исходящее из уст высокопоставленной персоны.

Два из принесенных шелков мне понравились, и я их купил за несколько гонконгских долларов*.

Дома, развернув свои приобретения, я долго ими любовался. Величие творчества очаровало меня. Разглядывая произведения искусства неведомых мастеров, я погрузился в мир библейских текстов.

Непоколебимая прямота речей Христа, постоянно направленных к сближению людей, вставала передо мной как мощный щит, ограждавший меня от грязи, лицемерия и алчности, с которыми я сталкивался, едва переступая порог моей конторы. Свидетельство об Истине открывало мне глаза и на бесчисленные хитрости

* Один американский доллар равнялся пяти гонконгским.

«дельцов». В то же время их жульничество и постоянная ложь настраивали меня критически к иным строкам Нового Завета. Многое в нем, безусловно, было направлено против самого учения Христа, несовместимо с ним.

Так к моим жизненно важным размышлениям прибавилось с этой поры и увлечение китайской живописью.

Всякий вечер после рабочего дня меня ждал уже не один, а несколько антикваров. Они несли множество свертков, увязанных в большой квадрат материи. На Востоке так переносятся всевозможные предметы.

Я покупал далеко не все, чем меня соблазняли. Ежедневный час выбора стал для меня наслаждением. Через месяц с небольшим я стал владельцем двухсот творений искусства, заполнивших дома огромный деревянный сундук. Мое «обогащение» длилось, пока наш «золотой запас», привезенный из Шанхая в брюшке бархатного медведя, не иссяк до последнего доллара. К этому времени антиквары, опустошив Гонконг, ездили в поисках товара в Кантон.

Изучая свои приобретения, я делался более разборчивым и обнаружил в своей коллекции больше дряни, чем подлинных ценностей. Приглашенные антиквары согласились скупить все то, что перестало мне нравиться, но только за четверть цены. Эта сделка позволила мне, однако, продолжать покупать у них с серьезным отбором одни лишь стоящие вещи.

В те дни, как меня уверяли мои «искусствоведы», никто в Гонконге, кроме меня, не интересовался китайской живописью. Нахлынувшие из Европы и Америки интересовались чем угодно, только не произведениями искусства.

— Ты с ума сошел! — возмущалась жена. — Дома не хватает самого необходимого, а денег больше нет.

— Ты ненормален, — повторяла она по другому поводу. — Хочешь изменить все порядки и правила тех, у кого ты служишь.

А ведь она не знала и части того самого рискованного, что я предпринимал в те дни.

— Ты болен, на тебе лица нет, ты спишь по три часа в сутки, — сетовала Таня. — Как будто ты можешь найти решение своим трудностям, копаясь ночами в Евангелии!

Была ли она права?

Нет, я не сомневался: мой мозг работал отлично.

Меня буквально опьянял мой безграничный оптимизм. Оптимизм, не желающий замечать, вернее, не придающий значения любому чреватому бедой риску. Жизнь выглядела прекрасной, полной света, что бы ни вытворяли бесчестные бизнесмены. Страхи жены насчет моего психического состояния казались мне совершенно безосновательными.

Ночами перечитывая Писание, я начал делать выписки, группируя мысли, разбросанные и перемешанные у четырех евангелистов. Благодаря этому ведущая нить всего учения обретала понятное значение. Одновременно прояснялись и иные вопросы Писания, доселе казавшиеся неясными. Я шел от открытия к открытию. Из всеобщей запутанности возникала доступная теория, а с ней и «ключи разумения», взятые священнослужителями, которые «сами не входят и хотящих войти не допускают» (Матфей 23,13 и Лука 11,52).

Ω

Как-то под вечер у нас на веранде собрались друзья. Влажная тропическая жара уходящего дня медленно спадала. Утоляя жажду, гости заговорили о временах японской оккупации. Среди них был бельгийский консул, женатый на русской, а также англичанин, отсидевший в лагере военнопленных. Он рассказывал, как мучительны были страдания заключенных от дизентерии азиатской острой формы. В аптеках можно было купить нужное лекарство, но японская охрана соглашалась на эту услугу только за очень высокую плату.

Некто Асессоров, английский подданный, но русский по происхождению, узнав о ком-то, кто был тяжело болен, но не имел средств для покупки лекарства, отдал единственное, что у него было, — золотой фамильный перстень. Вспоминая об этом, англичанин растрогался чуть ли не до слез.

— Вас этот случай удивляет только потому, что вы не знаете русских, — заметил бельгиец. — Поверьте, у них такой поступок считался бы совершенно естественным.

Мне пришлось удалиться, настолько эта история и слова бельгийца меня разволновали.

Стало как-то нестерпимо горько. Что, спрашивал я себя, что я делаю здесь, в мире всеобщего обмана, когда

там, где я родился, живут Асессоровы, живут такие, как русская — шанхайская проститутка, жертвовавшая собой ради сирот? Там двадцать миллионов легли костьми, защищая землю своих предков! Разве я должен день за днем жить и трудиться среди людей, высшая цель которых — набить свой карман, ограбив ближнего? Вспомнился слабенький Миша на утесе Средиземного моря, желавший показать, что дружба для него важнее жизни...

Контраст двух нравственных миров вдруг проявился, как никогда ранее, у меня перехватило горло.

Успокоившись, я вернулся к гостям; решение было принято: завтра же отыщу советское консульство.

Оказалось, что в Гонконге консульства не существовало. Был лишь коммерческий представитель, нехотя принявший мое прошение. Никакого ответа на него не последовало.

Вот в таком воинственном состоянии духа нашел меня прилетевший наконец генеральный директор разбросанных по Дальнему Востоку отделений нашей фирмы.

Потребовалось по меньшей мере два дня, чтобы посвятить его в мои открытия. Он казался удивленным, объявил, что злоупотребления моего предшественника не позволяют тому возвратиться из Европы в Гонконг. Но так как я настаиваю на своей отставке, ему придется выписать заместителя из Европы, до приезда которого он просит меня не покидать своего поста.

Я отказался наотрез, сказав, что и так уже скомпрометировал себя работой в сложившихся условиях. Он долго настаивал, потом перешел к угрозам: если я не изменю решения, то он позаботится, чтобы я никогда не смог что-либо выстроить в Гонконге.

— Вы скоро убедитесь — у нас здесь достаточно связей, чтобы помешать любым вашим планам, не говоря уже о прочих неприятностях, которых вам не избежать.

Ответив, что его угрозы на меня не действуют, я покинул контору и больше не переступал ее порога.

Стало ясно: я задел интересы не только шайки местных жуликов, но и тех, кто стоял много выше. Удивление директора разоблачениями того, что творилось в отделении его фирмы, было чистым притворством.

На следующий день пришло письменное требование освободить квартиру, принадлежавшую фирме. Я отве-

тил, что согласен платить ту же ренту, что и другие жильцы дома. Последовало письмо от адвоката: от имени своих клиентов он предупреждал меня, что вынужден подать на меня в жилищный суд, если я не откажусь от своего решения бросить службу.

За жарким летом пришла долгая осень. И хоть я опустошил свой запас витаминов, подъем и бессонница длилась еще месяца два.

Порвав сотрудничество с явным жульем, я нанял очень скромное помещение в расчете самостоятельно заняться строительством.

Пришло из Шанхая письмо от брата. Он писал, что обращался во все возможные консульства с прошением о въездной визе, но не добился нигде отклика, а армии Мао Цзедуна приближались к Шанхаю.

Я срочно подал в полицейский иммиграционный отдел ходатайство на въезд брата, заявив, что нуждаюсь в его помощи в своем строительном деле.

Спустя несколько дней пришел вызов в отдел и я был принят заведующим.

— Как того требует рутина, — сообщил он, — нам пришлось осведомиться относительно вас, и вот что ответило ваше бывшее начальство. — И он протянул мне письмо.

При первом же взгляде мои надежды рухнули. После всевозможных обвинений было сказано, что, на их взгляд, еще один член моей семьи вряд ли окажется желательным обретением для колонии. Что же касается меня, то их фирма слагает с себя всякую ответственность.

Соединив перед лицом пальцы и сдерживая улыбку, англичанин спросил, чем же я так сильно рассердил этих господ. Я ответил, что мои взгляды на то, как следует вести дела, расходились с их взглядами, по-моему не слишком корректными... Тут он взорвался от хохота; отсмеявшись, сказал, что мое определение — просто верх недосказанности. Англичане не любят преувеличений, предпочитая смягченную форму выражений.

Затем он похвалил меня за то, что я покинул эту «шайку грабителей».

— Они находятся под надзором полиции, но пока ведут делишки столь хитро, что нам не удается упрятать их за решетку, где им самое место.

И еще он добавил, что я правильно поступил, изложив свои затруднения чиновнику, ведающему разрешениями на строительство.

Вновь сложив пальцы и взглянув на потолок, как бы ища там точное выражение своей мысли, он добавил, что, к сожалению, некоторые служители короны не всегда способны устоять против соблазна (то есть хапают, перевел я мысленно), но, к счастью, у полиции имеется не смыкающая глаз антикоррупционная бригада.

Сообщив эти печальные наблюдения, он протянул мне другое, официальное письмо. Оно гласило, что Михаилу Клуге с семьей разрешен въезд и жительство в колонии Гонконга.

— Наш бедный остров сильно пострадал и нуждается в строителях таких, как вы и ваш брат. Напишите ему, что мы будем рады его приезду.

Провожая меня до двери, славный «народный слуга» (так значилось над его подписью в разрешительном письме) задержал меня, сказав, что хорошо было бы мне познакомиться с его другом Франком Шафтеном, начальником антикоррупционной бригады.

Я был счастлив за брата и радовался, что в непролазной клоаке существуют честные люди, стоящие на защите правого дела.

Миша с семьей не замедлил приехать, их приняли наши друзья Соколовы, уступив им нижний этаж своего дома.

Последовало некое подобие жилищного суда. Вели заседание двое китайских судей, явно занятых своими личными делами. Не вникая в суть, они вынесли приговор: выселение из занимаемой нами квартиры. Я заявил о своем намерении апеллировать к высшей судебной инстанции и обратился к адвокату.

В условиях моего найма говорилось о предоставлении мне квартиры без указания срока пользования. За два дня до судебного разбирательства я убедился, что мой адвокат не намерен воспользоваться этим документом. Я настаивал, видя в этом условии единственную надежду на успех. Адвокат упорно отказывался. Тогда я решил обойтись без его защиты.

— Возможно, что вы правы, — задумчиво заметил юрист. — Поверьте — откажитесь от апелляции и ищите себе другое жилье. Я уверен, что ваше бывшее

начальство — оно мне хорошо знакомо — предоставит вам несколько месяцев отсрочки.

Цинично, без стеснения он давал мне понять, чьи интересы защищает.

Ω

На сей раз суд выглядел куда респектабельнее. Судья-англичанин появился в черной мантии и традиционном седом парике, из-под которого торчали его рыжие волосы.

Секретарь огласил приговор жилищного суда с перечислением всех моих провинностей.

«Его честь», выслушав секретаря и сославшись на приговор китайского коллеги, заключил, что, поскольку нет формальных оснований, дающих мне право занимать квартиру, суд не правомочен принять во внимание мою апелляцию.

— Извините, ваша честь, при мне контракт с фирмой — истцом в этом деле, и я прошу вас ознакомиться с ним.

Секретарь направился было ко мне за бумагой, но судья остановил его жестом.

— Сэр, — заявил он, — я вправе либо ознакомиться с этим документом, либо нет. И в данном случае я предпочитаю с ним не знакомиться. Вы меня понимаете? — И судья скривил рот в самой фальшивой улыбке, какую я когда-либо наблюдал.

— О да, еще как понимаю! — был мой ответ.

— Апелляция отклонена, — возгласил судья, и улыбка мигом исчезла с его лица.

Ω

В ожидании визы в США мой отец был вынужден переехать с семьей на время из Шанхая на Филиппины. Там под покровительством «Интернациональной организации помощи» было основано временное пристанище для всех лишенных права возврата в свою страну.

После четверти века спокойной жизни в Шанхае отцу и его жене приходилось в третий раз эвакуироваться. Куда-то «бежать»!

До получения американской визы они провели несколько месяцев в филиппинском лагере. Там их млад-

шая дочь, Ольга, — ей исполнилось тогда лет семнадцать — вышла замуж за энергичного русского Александра Пронина, и они уехали «начинать новую жизнь» в Австралию.

Дождавшись визы, отец с мачехой уплыли в Сан-Франциско, увозя с собой свои скромные сбережения.

По приезде в Калифорнию они решили, что заработок найти нетрудно, а деньги проедать нечего, и внесли все сбережения в счет покупки, с рассрочкой на двадцать лет, нескольких соединенных друг с другом домиков. Внесенный аванс позволял им, занимая один из домов, сдавать остальные для покрытия очередных взносов.

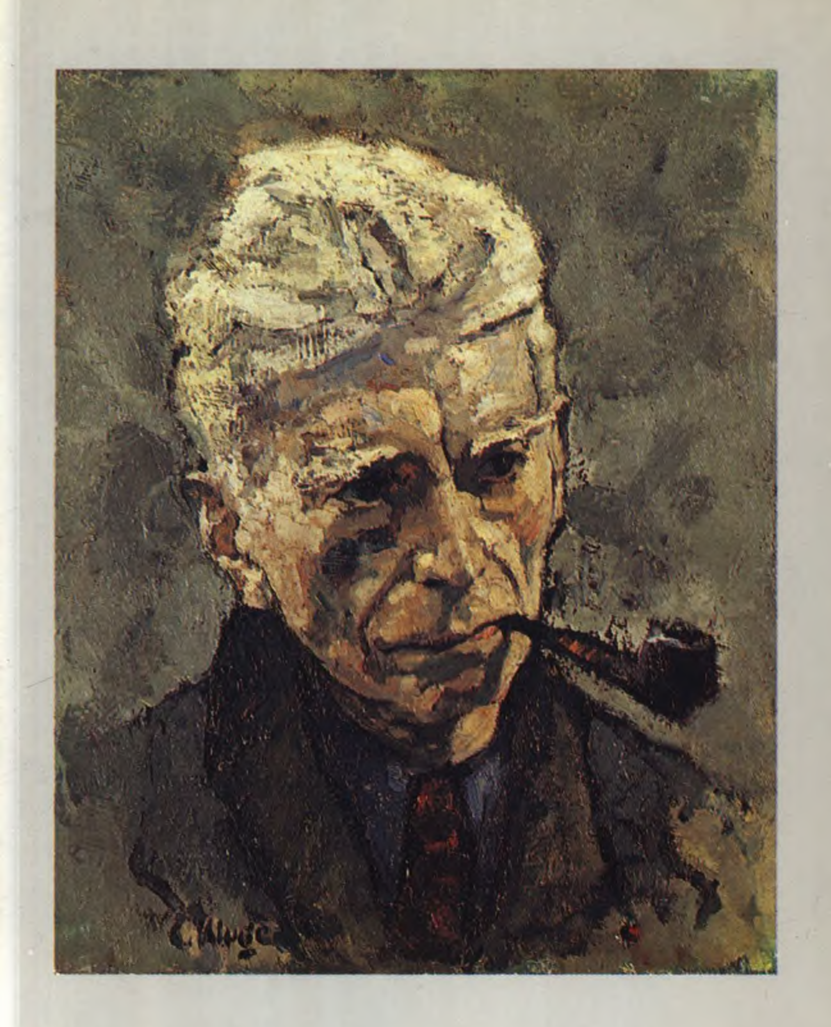
Отец поступил на завод сварщиком. Прошло несколько лет, и вдруг евреи Сан-Франциско решили строить синагогу неподалеку от этих домиков. А по их обычаю в синагогу полагается ходить исключительно пешком, — благодаря этому стоимость домиков сразу учетверилась. Решительная Наталья Николаевна, моя мачеха, не колеблясь перепродала право на эти домики с весьма значительной прибылью. Она всегда уверяла, что самое пагубное в делах — долгое раздумье.

В 1960 году после неудачной операции мой отец скончался семидесяти пяти лет от роду.

Закончив педагогические курсы, Наталья Николаевна получила место преподавателя русского и французского языков в одном из университетов.

Несколько лет спустя она вышла на пенсию и отбыла к дочери Ольге в Сидней. Там она обучала русскому языку троих своих внуков — Николая, Михаила и Григория.

Все трое давно женаты и обзавелись детьми.



Осип Цадкин. 1962

Руины часовни XV века вблизи Санлиса. 1973

Мария Клуге. 1959

Сюзанна Клуге. 1979

Улица Сент-Антуан. 1960

Две подруги. 1957

Лидия Линдель

Мария Старр. 1946

Флоранс Бельмондо. 1962

Блондинка. 1970

Дама в шляпе. 1944

Натюрморт с яблоками

Миша. 1954

Миша. 1950

Портрет девочки. 1965

Этюд на площади Вогезов

ДЕПРЕССИЯ

По мере моего увлечения теологией я становился все более безразличным к материальной стороне жизни. Вспоминая теории Тейяра, я уверялся в том, что, поскольку люди служат прогрессу Жизни, сама эта Жизнь обеспечивает их всем необходимым. О завтрашнем дне я так же мало беспокоился, как солдат о пропитании в полку.

Моя беспечность, как и мое критическое отношение к религии, тревожили брата и его жену. Они видели в моем состоянии резкое нарушение психического равновесия.

Вскоре я и сам убедился: функции моего мозга явно выходили из нормы.

За невероятной полугодовой взвинченностью следовала реакция. Удлинялись часы сна, стали исчезать неистощимая энергия и энтузиазм. Жизнь стала казаться печальной и даже отвратительной. Угрозы, на которые я недавно не обращал никакого внимания, обрели вдруг трагическую реальность.

Вера во всемогущество судьбы исчезла. Постоянное чувство тревоги, стеснявшее мое воображение, переходило в ощущение ужаса. Безграничное увлечение жизнью сменилось навязчивым желанием исчезнуть, умереть. В состоянии, когда отяжелевший мозг едва справлялся с элементарными мыслями, сознание возможности покончить с собой преследовало меня, давая минутное облегчение. В нем я видел выход из накатившего на меня кошмара. И если я ни разу не предпринял каких-либо конкретных попыток свести счеты с жизнью, то только потому, что сделался предельно труслив. Мне стало не под силу говорить, даже произнести несколько слов. Не в состоянии владеть пером — рука не подчинялась мозгу, — я перестал что-либо писать.

Врач, обнаружив переутомление, прописал укрепляю щие лекарства. А по части витаминов он уверял, что

организм воспринимает их лишь в той мере, в какой они ему необходимы.

Депрессия продлилась три или четыре месяца, потом пришло облегчение. Желание жить понемногу вытеснило тревогу и ужас предыдущих недель. Вскоре я снова был готов приняться за дело.

Но не так-то легко это было!

Мне пришлось убедиться в реальности угроз генерального директора. Ко мне обращались желающие строить. Я подписывал договоры, разрабатывал планы, и вдруг, без какой-либо причины все один за другим отказывались от заказа.

Выхода не было — пришлось закрыть архитектурное бюро и переключиться на живопись. Я не сожалел, расставаясь с гонконгским строительством.

Помнится, как один из ускользнувших от меня заказчиков просил изобразить его дом так, чтобы он блистал, освещенный солнцем, а стоявшие рядом здания были угрюмы и омрачены непогодой...

С новым рвением и чувством облегчения я вернулся к заброшенной было живописи. Несколько заказов на портреты и виды гавани с высоты горы вернули меня к любимому занятию, дарившему душевное удовлетворение и спокойствие.

Вместе с приливом сил я вновь ощутил потребность погрузиться в изучение Нового Завета. В него я «уходил» по вечерам или рано утром.

В ту осень я прочел нашумевшую книгу бежавшего из России Виктора Кравченко — «Я избрал Свободу». Ее быстро перевели на многие языки, и о ней часто писали в газетах. После всех славословий и героических описаний военных лет, доходивших до нас из Советского Союза, передо мной предстала ошеломляющая картина страны, живущей в постоянном страхе доносов, ссылок и беспощадных расстрелов. Книга Кравченко основательно изменила мою осведомленность о жизни на родине. Гонконг, несомненно, был «пещерой Али-Бабы и сорока разбойников», но я по крайней мере был свободен покинуть его в любой момент. И никто здесь не затыкал мне рот, я мог свободно высказывать свои мнения.

В Гонконге выходили две ежедневные английские газеты — консервативная и лейбористская. Несколько раз я посылал во вторую свои критические сообра-

жения по поводу местных методов строительства. Они неизменно публиковались.

В то же время я стал сознавать всю тщетность моих донкихотских атак на ветряные мельницы гонконгского бизнеса. То, что я обнаруживал в учении Христа, а также и в преступном искажении этого учения, вооружало меня несравненно более мощным оружием в борьбе со злом.

Однако сон снова бежал от меня. Как и год назад, чем меньше я спал, тем успешнее предпринимал массу новых дел помимо занятий живописью, которая, следует сказать, развивалась со все большим успехом. С растущей ясностью я видел, как в продолжение веков дурацкие, лишенные всякого смысла побасенки, сделавшиеся неприкосновенными догматами, заменили абсолютно логичное Слово величайшего мыслителя.

Увы, то, чего я опасался, не заставило себя ждать: за месяцами лихорадочной активности (хотя я давно уже не принимал витаминов) последовало сперва замедление жизненного ритма, падение трудоспособности, а за ним — спячка с депрессией. Появилось то, что истязало меня полгода назад: навязчивое желание умереть, боязнь всех и вся и ужасающее чувство своей никчемности. И снова это состояние длилось несколько месяцев.

Но, как и прежде, спустя несколько месяцев желание, а с ним и жажда жизни постепенно вытеснили депрессию, упадок сил и чувство бесцельности. Снова с рвением взялся я за краски и за изучение Писания.

Приходилось мириться с этими колебаниями. То взлет, то падение. Увы, у меня не было возможности остановить качание маятника. Казалось, что во время «активных» периодов мой мозг изнашивается, устает и требует месяцев спячки, чтобы восстановить всю израсходованную энергию.

В периоды аномальной активности мои этюды и портреты писались с особым увлечением и вдвое быстрее обычного.

Ω

Мой брат Миша, приехав в Гонконг, получал заказ за заказом на алюминиевые ангары. Их блестящая чешуя, сверкая на солнце вокруг аэропорта, была видна даже через пролив.

Мне посчастливилось отыскать за доступную плату трехкомнатную квартиру, хотя и далеко от центра города.

Нашего восьмилетнего сына приняли в английскую школу, и он с необычайной быстротой освоил новый для него язык. Дома с нами он отлично говорил порусски.

Таня постоянно упрекала меня за растрату времени на мою «писанину», повторяя, что в это время мой брат преуспевал в делах и мог позволить себе и семье что угодно. Если бы я уделял больше времени живописи, сетовала она, мы могли бы жить куда лучше. На самом деле ее мало занимали материальные блага, разговоры о них служили лишь предлогом для упреков. Ее злило мое увлечение теологией.

Мы получали письма из Франции, главным образом от Таниных братьев. Младший, Жорж, никак не находил заработка, и мне пришла мысль вызвать его в Гонконг. Он согласился. Иммиграционное бюро без затруднения выдало разрешение на въезд. Начальник помнил меня и в разговоре похвалил за статью о гонконгском строительстве.

Окрыленный оптимизмом, я пообещал Жоржу найти для него хорошую службу и выслал билет на поездку в Гонконг.

Увы, когда через два месяца он прибыл в Гонконг, я находился в очередном приступе ужаснейшей депрессии. Жорж не знал английского, и все попытки наших подыскать ему службу оказались безрезультатными. К тому же он тревожился, не получая писем из Франции от жены. Вконец разочарованный, он отправился в обратный путь. Вернувшись, он обнаружил, что жена ушла от него, ушла к их лучшему другу. Потрясенный, утративший все надежды, бедняга покончил с собой, отравившись газом.

Ω

Как-то я зашел в музыкальный магазин, где выдавались напрокат пианино. Таня с грустью вспомнила о своем инструменте, оставленном нами в Шанхае.

Не умея играть, я колебался в выборе. К счастью, одна любезная дама предложила свою помощь. Пройдясь опытной рукой по клавишам, она указала на

лучшее из всех имевшихся в магазине пианино. С первых же произнесенных ею слов я уловил легкий русский акцент, хотя она и говорила по-английски очень бегло. Обрадовавшись, я перешел на нашу речь и был очарован этой соотечественницей.

В прошлом концертантка, она уже несколько лет давала уроки музыки. Впоследствии мне стало известно, что большинство уроков давались ею бесплатно. Она пригласила меня приходить к ним с женой и сыном. Ее звали госпожой Шафтен. Фамилия показалась знакомой, и я спросил, чем занимается ее муж. Рассмеявшись, она сказала, что муж зря теряет время на своей службе. Его дело ловить, обличать и предавать суду нечестных служащих короны. Только практически у него нет возможности арестовывать высокопоставленных чиновников, даже располагая неопровержимыми доказательствами их жульничества. Когда же скрепя сердце ему приходится ловить какого-нибудь рядового служаку и тот получает тюремный срок, то Шафтен содержит на свои средства семью арестованного. И хоть его должность в полиции одна из важнейших, денег у него никогда нет ни гроша.

Она рассказывала все это как забавный анекдот, без малейшей досады. Чувствовалось, что муж ей казался правым и, окажись она на его месте, то поступала бы так же.

Я подружился с этой удивительной четой и виделся с ними часто до того дня, когда Франк Шафтен, выйдя по возрасту в отставку, уехал доживать свой век в Англию.

Возглавляя антикоррупционную бригаду и прослужив в полиции тридцать лет, Шафтен, когда покидал Гонконг, не имел даже средств на покупку чемоданов и сложил свои пожитки в ящики из-под мандаринов.

Примерно тогда же я познакомился с молодой четой, очень заинтересовавшей меня.

В Лондоне Даньель учился в «хорошей» школе, то есть говорил на правильном английском языке; этим качеством отличается обычно элита. Произношение и обороты речи выделяют ее из массы населения, пользующегося различными провинциальными говорами.

Приторно учтивый, Даньель одевался по последней моде, у него была типично английская фамилия, хотя

по происхождению он был выходцем из Центральной Европы. В Гонконге Даньель представлял лондонскую фирму, торгующую пишущими машинками.

Его двадцатилетняя жена Лариса была дочерью русской матери и отца-японца.

На первый взгляд молодая чета производила самое умилительное впечатление — так они были хороши собой и, казалось, влюблены друг в друга. Но вскоре обнаруживалось, что их характеры, стремления и чаяния отличались самым коренным образом. Тщеславный, самодовольный, развратный юбочник Даньель был одолеваем внезапными приступами ярости, превращавшими его в зверя. В такие моменты, теряя контроль над собой и пользуясь любым предлогом, он избивал беззащитную Ларису до потери сознания. Чудо, что он ее не убил, не изувечил, тем более что был исключительно силен.

Вопреки всему Лариса беззаветно любила мужа. Одного она не переносила — когда Даньель укорял ее в невладении манерами, принятыми в высшем лондонском обществе, частицей которого он мнил себя.

Так, однажды он привел домой девицу, из тех, что силятся подражать не очень-то успешно английской аристократии, и при ней приказал Ларисе внимательно приглядеться к тому, как полагается «леди» говорить и вести себя в хорошем обществе.

— А я покажу тебе это немедленно! — крикнула Лариса и с силой швырнула бутылку виски о стену рядом с англичанкой. За первой бутылкой полетела туда же вторая, третья...

На этот раз, не будь там их гостьи, позвавшей на помощь, Лариса едва ли бы выжила. И вот странность: вернувшись через месяц из больницы, она и полусловом не жаловалась на Даньеля, говоря друзьям, что считает его не совсем здоровым.

Я привязался к этой молодой женщине, ни в ком не видящей зла. И она с увлечением заинтересовалась моей живописью. Нас сближал и наш русский язык — она отлично им владела.

Хотя Лариса и не получила систематического образования, ее живой ум на лету подхватывал и усваивал самые сложные мысли. Я развивал ей теории Тейяра, и она не только вникала в них, но нередко сама приходила к весьма оригинальным заключениям.

В продолжение нескольких недель мы часто встречались. Отправляясь на этюды, я заходил к ней, — моя работа шла с большим увлечением, когда Лариса находилась рядом.

Повторяю: она никогда не жаловалась на Даньеля, перенося взрывы его ярости, как гонконгцы переносят тайфуны, превращающие их город в нечто страшное.

Наша дружба, казалось, нисколько не омрачала Даньеля. Как-то в ее присутствии он даже спросил меня, почему я не сплю с его женой. Но его безразличие было, однако, искусственным и ложным. Впоследствии я убедился, как глубоко он был уязвлен нашей духовной близостью. Видимо, по его понятиям, все стало бы на свое нормальное место, окажись мы любовниками. Не знаю, как бы он поступил в этом случае.

То, что наша дружба, взаимная устремленность к поискам чего-то возвышенного могли сделать невозможным физическое сближение, казалось Даньелю немыслимым. Он не скрывал, что иногда разнообразия ради посещал публичные дома.

Лариса ждала ребенка, но очередная ссора с избиением прервала беременность. На этот раз она долго не могла утешиться, никак, однако, не изменив своего отношения к мужу.

Ища объяснение такой всепрощающей любви перед лицом звериных проявлений злобы, я не мог не обратиться к поразившим меня словам Евангелия:

«Всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Матфей 25, 29).

Речь идет, безусловно, о богатстве духовном, о том, как оно, обогащая одного, обедняет другого.

Лариса родилась в Советском Союзе. Ее отец, японский дипломат, обвиненный в шпионаже, был выдворен из страны. Вернувшись в Японию, он покончил с собой, распоров себе живот. Его оставшаяся в России русская жена, мать двоих малых детей, оказалась лишенной всех прав, даже права на оплаченный труд. Она брела из селения в селение в поисках заработка, но, едва становилось известно о ее муже, ее гнали безжалостно, как прокаженную.

Мать Ларисы рассказала мне, как, не в силах больше противиться судьбе, она решила утопиться вместе с

детьми, но, зайдя с ними в реку, почувствовала такой холод, что вернулась на берег. Ее сынишка умер в пути, а Лариса выжила.

Добравшись до Маньчжурии, она узнала о гибели мужа. Несколько лет спустя, выйдя замуж за русского водолаза, она уехала с ним и с дочерью в Гонконг.

Лариса позировала мне много раз. Дважды, по настоянию Даньеля, — обнаженной.

Несмотря на его внешне приятельское отношение, я чувствовал, как выводит его из себя моя дружба с Ларисой. Кончилось тем, что, не вытерпев, он решил срочно покинуть Гонконг и вернуться в Англию.

По контракту фирма оплачивала ему обратный путь только в случае его увольнения. Учинив скандал и избив до полусмерти своего гонконгского начальника, Даньель обеспечил и увольнение и бесплатный проезд себе и Ларисе в Англию.

Несколько лет спустя я получил в Париже письмо от нее из Сингапура. Она писала, что Даньель служит в полиции и что у них двое детей. Своего адреса она не сообщила. Как она узнала мое местожительство, я так и не выяснил.

Ω

Был тогда у меня в Гонконге также и весьма оригинальный приятель — иезуит, ирландец лет сорока. Он и дюжина его коллег-иезуитов обучали детей из богатых китайских семей в двух принадлежащих им колледжах.

Отец Джон О'Брайан буквально поражал всех своей красотой. Я познакомился с ним на одной из своих выставок, он заинтересовал меня своим складом мыслей. Сложность здесь сочеталась с детской наивностью. Когда у нас собирались друзья, он неизменно бывал среди них.

Однажды после вечера, проведенного у нас, он исчез на несколько недель. Наконец, поймав его по телефону, я услышал, что он уезжал, что в его жизни произошло внезапное потрясение, о котором расскажет при встрече... Он повесил трубку. Придя к нам, исхудавший, он нам открылся: случилось с ним нечто недопустимое — он влюбился. Предметом же его увлечения оказалась наш близкий друг Нина Соколова.

Ему пришлось предаться полному уединению, искать успокоения в размышлениях и молитве, дабы изгнать из памяти неотвязный образ действительно обаятельной Нины.

Наши взгляды на религию расходились настолько, что, казалось, никакие соображения не могли бы объяснить наше обоюдное стремление видеться и тут же вступать в жестокий спор.

Как всякий ирландец, он был прирожденным спорщиком. Подсмеиваясь над ними, англичане уверяют, что, увидев дерущихся, ирландец спрашивает, частная ли это драка или можно принять в ней участие.

Хоть О'Брайан и был далек от революционных взглядов Тейяра и не допускал в своих речах критики основных догматов церкви, он то и дело позволял себе вольности, которые не решился бы повторить при своих собратьях-иезуитах.

— Наша религия, — признался он как-то, — требует прежде всего безропотного подчинения высшим инстанциям. Легко вообразить, как, воодушевляясь, люди слепо шли за такими вождями, как, скажем, Наполеон, а попробуйте-ка истинно и чистосердечно повиноваться некому «бренчащему на мандолине». Ирландцы никак не могли смириться с тем, что римский папа веками избирался непременно из итальянцев.

Весьма неглупый и начитанный О'Брайан (я его звал Джоном) сознавал несерьезность, недостаточную содержательность религиозных основ. Сомнения, порожденные нашими спорами, рисковали пошатнуть его убеждения, которые он, случалось, прятал, как страус прячет голову в песок. Я слушал его и порой сомневался в его искренности. Наши дискуссии влекли его, как пламя свечи влечет мотылька.

Однажды, хоть он и выглядел при этом весьма озабоченным, О'Брайан рассмешил меня и Таню. Вот что он нам поведал: одна дама его прихода, исповедуясь, заявила ему, что она исполнит епитимью, наложенную им за ее тяжкий грех, но сделает она это не для Господа Бога, а ради него, ее отца-исповедника, так как она безумно в него влюблена! Все попытки усовестить ее остались безрезультатными.

— Она буквально преследует меня повсюду, — жаловался бедняга. — И мне пришла на ум вот какая мысль: вы меня выручите, одолжив мне фотографию

Тани, и, когда я встречусь с этой особой, я как бы нечаянно уроню карточку из бумажника и скажу, что мое сердце занято другой. Возможно, она оставит меня в покое.

Случалось, наша религиозная перепалка принимала резкие формы, не доходя, однако, до ссоры. Несмотря на полное расхождение во взглядах, мой ирландец, приходя ко мне, неизменно с жаром возвращался к нашим диспутам. Видимо, они наводили его на переоценку укоренившихся убеждений. Он не признавался в этом, но не мог не сознавать ошибочности основ своей религии, созданной не Христом, а Павлом, намеренно переделавшим учение Христа в невероятное шарлатанство.

Моя беспощадная критика так называемого «апостола» Павла особенно волновала О'Брайана.

Об этом лжехристианине Павле стоит немного рассказать.

Фарисей Павел, ревностный сторонник традиций Израиля, безжалостно преследовал сторонников учения недавно распятого Христа, не гнушаясь принимать участие в их убиении. Однако новое учение продолжало распространяться, несмотря на гонения приверженцев. Тогда Павел решил исказить само их верование, придав ему волшебное, сказочное значение.

Основой выдуманных Павлом теорий послужил миф о грехопадении первого человека Адама, грехопадении, переданном им по наследству всему человечеству. Оно выражалось в грешности стремлений нашей плоти. Христос же (как утверждал Павел), будучи непосредственным потомком Адама, перенял от него ту же грешную плоть, и, лишь пострадав добровольно на кресте и воскреснув, он не только сам отделался от греха, но и спас весь род человеческий от неизбежной гибели. На этом основании Павел отверг учение Христа (во плоти) и распространил свое собственное, якобы переданное ему бесплотным воскресшим из мертвых Христом, повстречавшимся ему на пути в Дамаск.

Роль же Христа он сводил исключительно к удовлетворению кровожадного и злопамятного Бога-Отца, требовавшего жертвенной расправы с лучшим среди людей.

В Создателе вселенной Павел видел властителя-вельможу, ожидавшего жертвоприношений и льстивых молитвенных выпрашиваний. Невольно вспоминаются слова Христа о тщетности молений:

«Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него».

Измышления Павла, ни в чем не соответствовавшие новому учению, вызвали среди последователей Христа такое возмущение, что Павлу пришлось покинуть Иудею, отплыть в далекие страны.

Изгнанный, он затаил мстительную ненависть к своим соотечественникам и призывал к их безжалостному гонению. Обращенных в свою веру он убеждал, что «искупление их грехов» выразится тем существеннее, чем активнее они будут беспощадно преследовать ненавистных Богу детей Израилевых, «убивших Господа нашего Иисуса Христа».

Павел утверждает: Бог создал народ иудейский «в порыве гнева», что и вылилось в нечто совершенно негодное.

Однако, замечает он, сотворив такой неудачный народ, Бог-Отец выделил среди него малую часть таких безупречных иудеев, как он сам.

Воспользовавшись обвинениями Павла, «святые угодники» древности (а за ними и такие, как Лютер) призывали к жесточайшим гонениям евреев, разжигали ненависть и презрение к ним.

Хочется отметить, как осудил гонителей детей Израиля Владимир Соловьев в своем труде «Иудейство и Христианский вопрос»:

«Иудеи всегда относились к нам по-иудейски; мы же, христиане, напротив, доселе не научились относиться к иудейству по-христиански. Они никогда не нарушали относительно нас своего религиозного закона, мы же постоянно нарушали и нарушаем относительно их заповеди христианской религии».

Последователям распятого Христа приходилось таиться от властей. Павел же, хоть и объявлял себя христианином, не скрываясь, ораторствовал, путешествовал и рассылал свои послания без малейших препятствий. За такое явное благоволение властей он платил им постоянной поддержкой их авторитета. Его послания полны увещеваний, обращенных к подвластным, трудящимся и рабам, от которых он требует безропотного повиновения властям и хозяевам. По словам Павла, тяжесть их земного существования компенсируется благодатью, ожидающей обездоленных в загробной жизни.

Призывов к покорному подчинению в его посланиях нескончаемое множество. Ограничимся следующими его увещеваниями:

«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога... Посему противящийся власти противится Божию установлению».

(Послание к Римлянам 13, 1)

«Рабы, повинуйтесь господам (своим) по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу».

(Послание к Ефесянам 6, 5)

«Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих... ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу».

(Первое послание к Тимофею 2, 1—2)

Не так, обращаясь к иудеям, выражался о вершителях судеб пророк Исайя:

«Князья твои законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки, гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (1, 23).

Или:

«Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стязей твоих испортили» (3, 12).

Следует отметить, как Павел уверял приверженцев, что Бог прощает их грехи не за какие-либо сотворенные ими добрые дела, а по своей капризной милости, распространяя на них ничем не заслуженную благодать.

Павел с презрением относился к женщинам, советовал мужчинам обходиться без интимного общения с ними. От жен он многократно требовал беспрекословного повиновения их владыке-мужу.

«Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам был прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление».

(Первое послание к Тимофею 2, 11—14)

В понятии Павла духовный мир обоснован на некой троице, состоящей из Бога-Отца, «воскресшего искупителя Христа — Сына Божия», и его самого, создан-

ного, как он уверяет, «до сотворения мира», для того чтобы именно он, Павел, и никто иной, научил людей всей премудрости небес!

Хитроумные послания Павла, с бесконечными попытками доказывать свои измышления, с дотошными постоянными восхвалениями самого себя, исключительно нудны. Несмотря на это, они легли в основу религий, называющих себя христианскими.

Таково, для примера, таинство евхаристии или причастия, созданное благодаря Павлу.

Коринфянам он пишет:

«И возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть тело мое за вас ломимое; сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу».

(Первое послание, 11, 24)

Восклицая: «Ешьте мою плоть и пейте мою кровь», Христос пытается вызвать у людей такую же потребность в сказанном им, какую они испытывают в еде и питье. Суть своего учения он отождествлял с самим собой, со своей плотью.

Верное заветам Павла духовенство заменило аллегории Христа абсурдным ритуалом, при котором хлеб и вино волшебным образом превращаются в «истинные» тело и кровь Христовы! Нашим служителям небесным нет дела до пояснений Христа:

«Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда».

(Иоанн 6, 35)

На протяжении веков воодушевленные Павлом святители христианства продолжали создавать добавочные догматы и верования, удаляющие людей от основных требований Христа. На первом месте среди таких идолов следует отметить «деву» Марию, мать Иисуса. О ней в посланиях Павла не сказано ни слова. Сам же Христос ни разу ни высказывал особого расположения к своей матери.

В 1854 году римским папой был провозглашен догмат о беспорочном зачатии «девы» Марии ее родителями.

В 1950 году католическая церковь обогатилась еше одним догматом — о вознесении на небо пречистого тела «Матери Божией».

Вспоминаются слова Христа, обращенные к священнослужителям:

«Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехидны! Как убежите вы от осуждения в геенну?»

(Матфей 23, 32)

Правы те, кто отворачивается от религии, видя в ней грубый обман. Однако как досадно, что вместе с ней они отбрасывают и все то бесконечно ценное, чему учит Христос.

Ω

Как-то, идя по улице, я повстречал своего шанхайского знакомого — американца Старра. По своему обыкновению, не теряя времени на пустую болтовню, он пригласил меня с женой отобедать у них и посмотреть его достроенную виллу.

Его дом находился на противоположном склоне нашего острова. За нами была прислана машина.

От виллы к морю спускался сад в японском стиле, за ним — частный пляж Старров и причал для яхты. С высокой террасы дома открывался вид на океан с крохотными островками. Между ними до самого горизонта виднелись там и сям джонки рыбаков.

Хозяева встретили нас очень радушно. Мэри Старр показалась мне еще более веселой, чем в Шанхае.

Прекрасные глаза моей шанхайской модели сверкали искренней радостью нашей встречи. Шутя, она отпила из моего стакана коктейль, приготовленный ее мужем, и мы перешли в столовую. Сидя рядом, мы, перебивая друг друга, болтали без умолку.

Но едва кончился обед, Старр объявил, что они поедут «прогуляться» по морю на своей яхте, пока шофер отвезет нас домой. Я заметил, что его распоряжение не понравилось Марии и она демонстративно умолкла. Показалось даже, что между супругами существует некоторая натянутость, которой я не замечал три года назад.

Как далек я был тогда от предположения об ожидавшихся переменах в моей жизни! Переменах, вызванных встречами с Марией Старр.

Ω

Когда шанхайские строители приносили мне свои проекты построек, они, бывало, стараясь меня насмешить, признавались в хитростях, благодаря которым им удавалось надувать своих клиентов, извлекая за их счет максимальный доход. Им это не только казалось забавным, но и как бы доказывало их умственное превосходство над теми, кто относился к ним с доверием.

Летом 1948 года по распоряжению губернатора Гонконга началась постройка семиэтажных жилищных корпусов для служащих администрации колонии. К моему изумлению, дома возводились не как обычно, из железобетонного каркаса с заполнением из пустотелого кирпича, а отливались из бетона-монолита в фут толщиной. Я сразу понял, что это значило: стоимость стен по меньшей мере удваивалась. Вздутые сметы мне были хорошо знакомы. Кто-то, видимо, собирался здорово разбогатеть. Но кто? Не само ли губернаторство?

Местная либеральная газета отважно критиковала что угодно, однако воздерживалась даже от намеков на возможную нечестность представителя монархии нашей колонии. Не зря же покрышку губернаторского «роллс-ройса» украшала большая медная корона.

Редактору газеты удалось уговорить меня смягчить тон статьи, удалив прямые намеки на жульничество «наверху». Мою полосу напечатали, и те, кому следовало, обратили на нее надлежащее внимание. Спустя короткое время мои разоблачения обошлись мне недешево.

ЦИКЛОТИМИЯ

Вскоре мне зачем-то понадобилось побывать в Макао. С незапамятных времен Макао принадлежало Португалии, это древнейшая европейская колония в Азии. Из Гонконга туда можно было доехать морем за пять часов либо прилететь за полчаса шестиместным рейсовым самолетом.

Как раз в те дни моя эйфория достигла апогея. Все казалось мне по плечу, все доступно и достижимо. От кого-то у меня оказалась рекомендация к губернатору Макао. Он меня принял самым любезным образом, говоря на отличном французском языке. Я упомянул моего шанхайского доброго знакомого, португальского посла в Китае, — он оказался одним из ближайших друзей губернатора.

Наш разговор перешел на философско-религиозные темы, и губернатор, предложив мне повидаться с епископом, позвонил ему и препроводил меня к святому старцу.

Как и губернатор, епископ был любезен и с большой ловкостью стал побуждать меня к полной откровенности. Помню, как я уверял его в преимуществе социализма перед капитализмом! Он с улыбкой поддакивал и кивал головой, даже когда я заговорил об «апостоле» Павле.

И лишь после того, как я поведал ему о мошенничестве отца-прокуратора, он изменился в лице, прервал меня и заявил, что я говорю о его близком друге, чье благотворное влияние простирается едва ли не на весь Дальний Восток, уж не говоря о его исключительной роли в французском Индокитае. Он не желал больше выслушивать мои обвинения и, встав, не протянул мне руки, давая понять, что епископальный прием окончен.

Уходя, я не сомневался, что, соединясь по телефону со своим гонконгским другом, он выкладывает ему все обо мне и моих наветах. С опозданием вспом-

нилось мудрое предостережение — «не метать жемчуга перед свиньями».

Вечером, когда пароходик из Макао пришвартовался к гонконгскому пирсу, я с удивлением увидел у сходен брата Мишу. Его сопровождал маленький господин с розовым лицом и выступавшими, как у кролика, верхними зубами. Поднявшись на палубу, где шла проверка паспортов, брат познакомил меня со своим спутником, сказав, что это доктор Скривен, профессор философии, желающий обсудить со мной кое-какие важные вопросы. Мне это показалось крайне странным, как и то, что вокруг нас возникло с полдюжины полицейских.

Я не слишком любезно ответил, что спешу повидаться с женой и сыном и предпочел бы отложить разговор на другой раз.

Оказалось, что моя семья находится у брата, в Каулуне, а в распоряжении профессора катер, который в пять минут доставит нас туда. И паспортной проверки можно не дожидаться, всемогущий профессор и об этом уже позаботился.

Заинтригованный, я согласился, и мы мигом оказались на другом берегу пролива.

Профессор жил в «Пенинсула»; пока мы шли к нему, во мне крепло подозрение о какой-то хитрой махинации.

Войдя к нему, я понял, что попал в кабинет врача, и попросил не ходить вокруг да около.

— Что же, пожалуйста, скажу вам прямо. я психиатр. Ваш брат рассказал мне о ваших периодических депрессиях. Эта болезнь, называемая циклотимия, мне хорошо известна, и, если хотите, я вас вылечу.

Я охотно согласился, пообещав прийти к нему на следующее утро.

— Если вы меня не опасаетесь, примите вот эти три таблетки.

Он то терял, то совал обратно монокль на тесемке, ужасно при этом гримасничая. Его плутовская рожа и манера говорить с какой-то дурацкой иронией злили меня, но предложение вылечить, избавить меня от взлетов и падений было так заманчиво, что, сдержавшись, я покорно проглотил его таблетки.

Несколько минут ходу, и мы были у Миши, где меня действительно ждали жена и сын. Но едва мы во-

шли в дом, как я почувствовал сбивающее с ног головокружение. Надеясь побороть угнетающую, тупую сонливость, я поспешил к столу, где был подан ужин, и стал заталкивать в себя пищу, прося поскорее дать мне кофе, но тут же, потеряв сознание, свалился на пол. Видимо, после того, как я неделями спал не больше двух-трех часов в сутки, снотворное Скривена произвело такое ошеломляющее действие.

Всякие мысли пронеслись в моей теряющей контроль голове, только я ясно сознавал, что меня бессовестно обманули.

Перепуганный брат позвонил Скривену. Тот ответил, что, если мое состояние вызывает опасение, он распорядится и отряд полиции увезет меня в психиатрическую лечебницу. Брат, видимо, решил, что так будет лучше, и меня, спящего, уложили на носилки, перевезли на набережную, оттуда через пролив, и, только когда носилки были опущены на гонконгскую землю, я очнулся. Надо мной ширилось звездное небо, это я хорошо помню, сбоку поднималась гора, а вокруг меня стояли полицейские.

Я попытался рывком вскочить, но на меня навалились и живо прикрутили ремнями к носилкам. Снова засыпая, я успел осознать, что носилки вдвигались в карету «скорой помощи».

Проснулся я в больничной кровати. На мне была жесткая пижама, а рядом стояли два китайца в белых халатах. Один отрекомендовался директором, доктором Япом. Он заверил меня, что я помещен в палату первого класса его лечебницы. Я ответил, что рад это слышать, но ужасно хочу спать, и тотчас же снова провалился в мертвецкий сон.

Полное пробуждение наступило в полдень. Меня звали обедать. В помещении общего пользования, служившем также столовой, находилось человек двадцать. Почти все были молоды. Некоторые выглядели больными, другие же, по-видимому, не нуждались ни в каком лечении.

Обнаружив среди них типично русскую физиономию, я сел рядом и обратился к нему по-русски. Ответа не последовало. Мне объяснили, что этот русский во время оккупации работал у японцев и возвратившиеся в Гонконг англичане так его избили, что он лишился речи.

Нам принесли какие-то неопрятные харчи в грязных алюминиевых тарелках, с виду никогда не мытых, и мои соседи принялись с жадностью есть.

Молодой испанец подошел ко мне и шепотом посоветовал держаться с осторожностью, не высказывать в этих стенах политических взглядов, иначе меня отсюда никогда не выпустят, как и его, засаженного сюда три года назад за принадлежность к компартии. «Когда они не могут кого-то посадить по закону, то запирают сюда», — пояснил он, добавив, что директором Япом распоряжается полицейский чин по фамилии Коллиер, но здесь он почти никогда не появляется.

Предупредили меня и о «битингах», то есть избиениях. Тут регулярно избивали, особенно новичков, отчасти и с тем, чтобы побудить запуганную родню совать директору Япу значительные взятки.

Брошенного на пол били голыми пятками по спине. Прилив крови к спине, учила китайская медицина, оттягивает ее от мозга и тем облегчает психически больного. Эта «терапия» напоминала мне то, как когда-то в Маньчжурии наш повар-китаец обращался к лекарю с жалобой на боль в горле и тот двумя медяками щипал его шею до темно-синих кровоподтеков, после чего боль в горле исчезала.

Избиение пятками мне пришлось испытать на себе три раза.

В первый же вечер я был внезапно окружен санитарами (их называли там «гард», то есть охранник). Ловким приемом я был сбит с ног, после чего посыпались ужасные удары в спину. Били, чередуясь, два или три «гарда». Слышалось их хриплое: «Хан, хан, хан!» Через несколько секунд я потерял сознание. Не знаю, как долго продолжался «битинг»; закончился он, как я почувствовал, когда старший «гард» сделал мне прямо сквозь пижаму впрыскивание в ляжку, видимо, морфия. Хоть я не был в состоянии шевельнуть пальцем, на меня надели смирительную рубаху и поволокли на кровать.

Позже, с трудом придя в себя, я почувствовал глухую боль в спине, особенно в том месте, где приделанные к рукавам шнуры были связаны за спиной. Когда я пытался повернуться на бок, в груди у меня слышалось странное хлюпанье, словно все мои внутренности в чем-то плавали.

Через некоторое время это ощущение исчезло и смирительную рубаху сняли. В мою комнату вошел сердобольный «гард» и смазал спину немного утишающей боль мазью. На мой вопрос, почему на меня надели этот «стрейт джакет», он, поколебавшись, тихо пояснил, что бывают случаи, когда избитый не выживает, тогда его родственникам говорят, что он буйствовал и сам виноват в своей гибели.

Впоследствии я узнал, что в течение недель как доктор Скривен, так и брат отчаянно добивались доступа Скривена ко мне. Глубоко возмущенный, имевший в английской армии звание полковника, Скривен был наконец допущен ко мне, своему пациенту, лишь со скандалом, припугнув губернаторство немедленной жалобой по телеграфу в министерство здравоохранения. Угроза подействовала, и мой психиатр появился в сопровождении двух ассистентов, принесших с собой аппаратуру для электрошока.

Поток его насмешек разом иссяк, когда он увидел плачевное состояние моей спины. Смолкнув, он лишь насвистывал что-то сквозь зубы.

За осмотром последовал сеанс лечения электрошоком, о котором я ничего не помню, так как тут же потерял сознание.

Приходя в себя уже в своей постели, я с удивлением ощутил, что на мне нет привычной смирительной рубахи, что я могу свободно ворочаться и во рту нет привкуса рови, как после «битингов».

Но больше всего поразили меня склонившиеся надо мной улыбающиеся милые женские глаза.

— Меня зовут Санни, я ассистентка доктора Скривена. Пока вы здесь, я вас не покину ни на минуту. Вам больше нечего опасаться.

В порыве чувств я нежно поцеловал ее руку. Тогда, нагнувшись ко мне, она прижала свои губы к моим. Так впервые за многие годы я целовался не со своей женой.

Следует рассказать, что наши палаты «первого класса» располагались на третьем этаже. Снизу, из отделения попроще нашего, то и дело раздавались крики и вопли. Что там творилось, я не знаю. Когда же били кого-либо из моих «одноклассников», меня всякий раз запирали в моей комнате. Избиения длились минут пять.

Таня регулярно приходила в больницу, но выше приемной ее не пускали. Мы с ней обменивались записками. Я испытывал острую нужду в бумаге для рисования и в карандашах. Дело в том, что, как только я принялся рисовать товарищей по несчастью и их многочисленных «гардов», двое больных вдруг проявили рвение к художеству. Выпрашивая у меня все больше листов бумаги, они поражали меня своими удивительными рисунками.

После второго сеанса электрошока я был выписан из больницы под личную ответственность Скривена. Лечение продолжалось в его кабинете. Я ездил к нему два раза в неделю в сопровождении жены. В общей сложности я подвергся двенадцати сеансам. Они меня временно начисто лишили памяти. До такой степени, что в своем доме мне случалось задумываться, вспоминая, где же находится ванная комната.

Такое беспамятство тянулось с месяц. Постепенно туман рассеялся и я смог понемногу вернуться к работе.

Встречаясь и после этого со своим психиатром — полковником, я свыкся с его отталкивающим сарказмом, быть может принятым в английской армии, особенно в обращении начальника с подчиненным. Он заказал мне свой портрет в военной форме, и я убедился, что его психотерапия никак не повлияла на успешность моей работы.

Однажды Скривен заявил, что должен сделать мне какой-то укол. К малосимпатичным сторонам его характера надо добавить и склонность к таинственности, и, зная его, я не полюбопытствовал о назначении этого укола.

Лежа на знакомом мне столе, я почувствовал, как он медленно вводит мне в вену жидкость, от которой по всему телу разлился жар, одновременно вызывая приступ слезливости и потребность говорить, говорить, говорить... что-то бессвязное, как бы в чем-то винясь. Склонясь надо мной, Скривен громко о чем-то меня спрашивал, не помню, о чем именно. Дальше все перепуталось и я уже ничего не запомнил.

Когда я очнулся, Скривен объяснил, что укол лишил меня возможности уклоняться от правдивых ответов и теперь он безошибочно знал, что я не состою в коммунистической партии! Он добавил, что ему при-

шлось прибегнуть к этому способу по требованию губернаторства.

Я немало с ним беседовал, в частности о моей циклотимии. По его словам, это болезнь не мозга, а «настроения». «Good mood — bad mood» — пояснил он. В малозаметной степени это случается со всяким. Особенность этой болезни, добавил Скривен, еще и в том, что недужный не в силах не реагировать самым активным образом на проявления фальши, лжи и на все то, что кажется ему нечестным.

Проведя курс лечения, Скривен несколько раз советовал мне показаться американцу остеопату-киропрактику. Его беспокоило состояние моей спины.

Костоправ из Техаса, проведя пальцами по бокам моего позвоночника, спросил, как случилось, что от шеи до пояса он не может нащупать двух совпадающих позвонков. Его удивляло, что при этом я в состоянии держаться на ногах. Пришлось соврать, что я попал в автомобильную аварию. Но он, было видно, мне не поверил.

Уложив меня ничком на стол, состоящий из по отдельности опускавшихся «подушечек», нащупав позвонок, он внезапно с силой нажимал на него. Слышался мгновенный легкий хруст, и мой эскулап приступал к следующему позвонку.

После нескольких сеансов он признался, что поначалу не очень надеялся исправить мою спину. «А теперь, если только вам удастся, — заявил он с иронией, — избежать подобных аварий, ваши позвонки будут смирно сидеть на своих местах».

По мере того как я возвращался к обычной деятельности и Скривен внушал мне, что колебания моих «настроений» больше не повторятся, я вновь ощутил настойчивую потребность углубиться в изучение Нового завета. Каждый свободный час я погружался в свои записи и сопоставления, приводившие меня к все более определенным заключениям.

С этой поры мои отношения с Таней окончательно пошли к разрыву. Пока я болел, она еще как-то мирилась с моим увлечением, но теперь, после всего пережитого, такое отклонение от того, что она считала прямой обязанностью отца и мужа, казалось ей недопустимым.

Моя «мания» занимала слишком много времени. Ее раздражительность стала постоянной. Упреки пере-

ходили в приступы бешеного гнева. Не будь я значительно сильнее ее, она непременно дала бы волю рукам: вид моих книг, тетрадей, записей приводил ее чуть не в истерику.

Ко всем несчастьям добавилась ее беременность. Она настаивала на аборте. Без моего письменного согласия Скривен не мог выдать требуемое местным законом разрешение. Я долго противился, но ее психическое состояние ухудшалось с каждым днем, она грозила покончить с собой, и, помня недавнюю трагическую гибель ее брата, я не мог не принять ее угрозы всерьез. В те дни я рассматривал мое согласие как соучастие в убийстве.

Дав согласие, я предупредил ее, что на этом заканчивается наша совместная жизнь. Она не возражала, сказав, что хочет вернуться во Францию.

По выздоровлении было решено, что они с Мишей отправятся в Париж, а я туда приеду, когда мне позволят средства.

Я не вполне представлял себе, как тяжка будет для меня разлука с девятилетним сыном. Миша вырос на редкость сердечным мальчиком. Крайне чувствительный, он тяжело переносил наши ссоры.

Он нас поражал своей памятью. Прочтя страницу, он мог повторить ее безошибочно. Его увлекала поэзия. Русские стихи он декламировал с выражением и сам пописывал по вдохновению недурные для детских лет стишки.

С тяжелым сердцем я расставался с любимым сынишкой, уезжавшим от меня на другой край земли.

Из каждого порта он присылал мне письма, полные нежной любви и уговоров приехать во Францию как можно скорее.

Вместо того чтобы писать, как прежде, с высоты горы виды шикарной части Гонконга, я удалялся на окраины, где заканчивалась трамвайная линия, и там писал свои этюды.

До горизонта тянулись привязанные одна к другой плоскодонные лодки-сампанки, населенные полумиллионом людей. На что эти люди существовали, как жили, я не знал. Неподвижные лодки служили им лишь жильем, ночным убежищем.

В нескольких местах набережную занимали верфи — там строились мореходные джонки, рядом чинились рыбачьи сети и вились веревки.

Параллельно причалу тянулась узкая улочка, пригодная лишь для пешеходов. Кишащая торгующим и покупательским людом, она была одновременно и своеобразным «индустриальным центром», — многие предметы обихода изготовлялись тут же, на виду у публики.

Среди хрюкавших свиней и поклевывавших кур на маленьком табурете перед специальной наковальней сидел пожилой китаец; он выковывал и сгибал щипцами из проволоки великолепные крючки для рыбной ловли. С точностью хронометра они каждые десять секунд падали в корзинку. Все его костлявое тело дергалось ритмично, в такт ударам молотка, как в неком ритуальном танце. Не замедляя работы, он с улыбкой поглядывал на меня, видимо гордясь своим искусством.

Зачарованный, я стоял, не решаясь оторваться от такого зрелища — от человека-машины. Лишь опасение заразиться навсегда магией этого ритмического движения заставило меня, наконец, уйти. Я дивился умению этого трудолюбивого народа приспосабливаться к нелегким требованиям жизни.

Мне было досадно: не зная ни слова на кантонском наречии, похожем на языки Индокитая, я не мог поговорить с местными жителями.

Китайские купцы, приезжая с севера, договаривались с гонконгскими соотечественниками по-английски или указательным пальцем рисовали некий вспомогательный иероглиф на своей левой ладони. В годы оккупации китайцы общались с японцами с помощью китайской письменности.

Когда-то, в незапамятные времена, Япония была лишь одной из провинций Центральной Империи Чун Го, как китайцы называют свое государство. Видимо, с тех пор у японцев сохранилось особое почтение к китайской каллиграфии — они вплетают ее в каждый свой текст, написанный их собственным алфавитом, состоящим из пятидесяти одного знака. Чем выше претензии японца на эрудицию, тем чаще в его письме попадаются иероглифы. Писать же исключительно ими имеет право лишь Микадо, то есть император.

Прошагав через поселок, я доходил до каменоломни. Там на палящем солнцепеке молодые китаянки целой артелью кирками откалывали глыбы камня, а другие дробили его молотами. У многих за спиной был привязан крест-накрест ребенок. Все были одеты в черное и носили черные широкополые шляпы со свисающей полосой материи по краям.

Китаец-надзиратель стонущим голосом подгонял подчиненных ему женщин.

На юге Китая весь тяжелый труд взвален на женщин. Там не грузчики, а грузчицы. У южанок ноги и руки куда крупнее, чем у их северных сверстниц, которые не церемонясь командуют своими трудолюбивыми и безропотными мужьями.

Этюды и зарисовки этой кишащей бедноты покупались только европейцами. Богатые китайцы, конфузясь, посмеивались при виде моих полотен. По их мнению, не пристало культурному человеку изображать нищий быт трудящихся.

Но не следует и нам забывать, что всего сто лет назад европейские любители живописи держались того же ограниченного мнения и изменилось оно лишь благодаря революции, внесенной в их взгляды импрессионистами.

В своих мемуарах президент Франции Поль Думер вспоминает, как молодым еще инженером он строил совместно с английскими коллегами железную дорогу в китайской провинции. Для развлечения они соорудили теннисную площадку, выписали из Европы ракетки и мячи и на открытие пригласили местного вельможу.

— Мне ваша игра нравится, — ответил на их вопрос губернатор. — Одного я не понимаю: почему вы не заставите вместо себя играть ваших слуг?..

Помнится, еще в Шанхае шел я по кишевшей людьми улице. Вижу, рикша везет с базара тучного китайца. У его ног и за спиной — корзины и тюки, полные продуктов. За рикшей трусит вор. Кухонным острым ножом он отрезает куски торчащего наружу нутряного свиного сала. Прохожие видят и только ухмыляются, никто не вмешивается — ведь это не их личное дело...

ВАРВАРА

После отъезда жены моя работа пошла значительно успешнее и продуктивнее.

Случилось, что как-то, идя по длинному коридору конторы, я остановился как вкопанный: навстречу шла молодая женщина непередаваемой красоты! Она была так хороша, что я не мог, не был в силах пропустить ее мимо, дать ей вот так исчезнуть, уйти из моей жизни.

Никогда прежде не позволял я себе ничего подобного. Задержав ее, я принялся в смущении сбивчиво объяснять, что я художник, портретист, и был бы счастлив ее согласию позировать мне.

С удивлением, молча она смотрела на меня, потом, видя мое замешательство, улыбнулась, сказав, что ей придется спросить согласия мужа, и попросила меня следовать за ней.

Муж выслушал ее, недовольно оглядел меня с ног до головы и, отвернувшись, сердито сказал, что она может делать все, что ей заблагорассудится. Мы условились о встрече, и с того дня она приезжала ко мне ежедневно позировать для нескольких портретов.

Удивительно стройная, идеального сложения, двадцатитрехлетняя Варвара была канадкой. Она жила с мужем и двумя малыми детьми в Маниле, а в Гонконге они находились временно. В войну ее брат, летчик, писал ей с фронта о своем друге — командире его эскадрильи. В воздушном бою брат был убит, и по окончании войны его друг приехал навестить сестру погибшего, влюбился в нее и они поженились.

Поистине недостает слов описать всю прелесть этой женщины. Темно-рыжие густые волосы, нежнейший цвет лица, огромные, выразительные серые глаза и манящая улыбка покорили меня с первой встречи. Мой порыв, чувства, охватившие меня, не оставили и ее равнодушной; вскоре мы предались друг другу, соединив наши две жизни.

Мир моих размышлений и духовных поисков увлекал Варвару. Наши беседы о жизни и об устремленности ее развития уводили Варвару далеко от окружавшего ее мира дельцов. Она призналась, что сама жизнь приобрела для нее иной, более широкий смысл. Ее поражали письма, которые писал мне Миша. Я ей старательно переводил их с русского. Знала она и о том, как невыносима была ему и мне наша разлука и как всеми силами души я стремлюсь к нему.

Два месяца промчались, как мгновение. Мне кажется, что все самое поразительное в нашей жизни, точнее говоря, самое святое, не может быть воссоздано словами, описано, — оно навсегда должно оставаться влекущей тайной.

Но настал день, она пришла ко мне опечаленная и с трудом проговорила:

— Муж решил вернуться в Манилу и предложил мне остаться с тобой, детей он заберет. Вот с чем я пришла к тебе...

Я молчал, молчала и она, сознавая, что ни я, ни она не в силах решиться на этот шаг. Вздохнув с подавленным стоном, она сказала:

— Я знала, что будет именно так. А если обстоятельства изменятся, дай мне знать, вот мой манильский адрес.

Ω

Истязующий, неотступный труд: днем — живопись, вечерами — работа над теологическими записями, только это и помогло мне бороться с одиночеством. Забыть Варвару я не мог.

Прошло шесть месяцев. Весной пятидесятого года новое французское судно «Марсельеза» совершало свое первое дальневосточное плавание. Рассчитывая на заказы портретов, я разрешил себе непозволительную для моих средств роскошь и купил билет первого класса.

По настойчивым слухам, китайские власти угрожали со дня на день оккупировать Гонконг, и мой брат, несмотря на развивающиеся дела, собрался переехать с семьей в Америку. Но прежде ему хотелось осмотреть Европу, где он никогда не бывал.

Как и я, он ехал в первом классе на «Марсельезе».

Моим соседом по каюте оказался корректный, аккуратнейший немец лет шестидесяти. Он так обильно растирался одеколоном, что пассажиры, встречая меня, восклицали: «Как вы дивно пахнете!»

Первая остановка «Марсельезы» была в Маниле. Не сдержавшись, я письмом предупредил об этом Варвару.

Едва лайнер пришвартовался, я сразу узнал ее в толпе ожидавших — по копне волос цвета золота и бронзы.

С каким нетерпением хотелось мне, растолкав всех, прорваться к ней! Однако портовые формальности тянулись вечность. Но вот она уже совсем близко, у самого борта, обращает ко мне взгляд любимых глаз. И тут я увидел: она беременна! Я был потрясен. Она не написала мне об этом.

Наконец мы были вместе! В счастливом исступлении я целовал ее лицо, самое прекрасное из всех, которыми щедрая судьба одарила мою жизнь.

Не без гордости познакомил я Варвару с братом и его женой и повел ее в свою каюту. Расшаркиваясь, немец удалился, оставив нас одних.

Она сказала мне, что это наша последняя встреча — она решила «наладить» свою семейную жизнь.

До отплытия оставался час-полтора, и мне захотелось в последний раз написать ее лицо. Как ни странно, мое страстное увлечение Варварой было интимно, таинственно связано с живописью. В самом изображении красоты есть что-то завораживающее, возвышающее. Если же художник к тому же неравнодушен к модели, то его чувства передаются ей, возбуждая в ней взаимное влечение.

Позируя, Варвара не сводила с меня своего прямого, открытого, честного взгляда.

Мы настолько ушли в наше совместное творчество, вкладывая в него и нашу любовь, и отчаяние перед разлукой, что не обратили внимания на удары гонга — предупреждения об отплытии парохода. Внезапно дверь каюты распахнулась и в ней появился недоумевающий Миша.

Команда готовилась поднять трап. Офицер, распоряжавшийся маневром, обратился было к Варваре с упреком, но сразу смолк, увидя ее залитое слезами лицо невероятной красоты.

Она сошла на берег и удалилась своей легкой походкой, не оборачиваясь.

Как сложилась ее жизнь, я не знаю. Да я и не пытался узнать.

Ω

Корабельный распорядитель разрешил мне развесить по стенам главного салона дюжину моих работ. Он лишь попросил перед воскресным богослужением снимать два изображения обнаженной Ларисы, дабы не отвлекать молящихся, да и самого священнослужителя от их устремления к Всевышнему.

Покинув Манилу, три дня спустя «Марсельеза» поднялась по мутной реке, впадавшей в море рядом с Меконгом, и вошла в гавань Сайгона.

Мой немец был не только предельно педантичен, но еще и очень доволен собой и делами, которые он вел на Востоке. В Сайгоне мы решили сойти на берег вдвоем, чтобы забавы ради купить что-нибудь на память. Надо было обменять немного денег на местные пиастры.

Едва мы завернули за угол и оказались вне поля зрения полицейского, как нас окружила толпа менял. Один из них, показавшийся порядочнее других, предложил за моих сто американских долларов шестьсот пиастров. Официальный курс был значительно ниже, и я согласился на сделку. Он лихо отсчитал шесть сотенных билетов, но, прежде чем вручить их мне, захотел проверить мою купюру, сказав, что среди них попадается много фальшивых, и поднял ее над головой для осмотра на свет. Мы тоже воздели взоры вверх, в небо.

В этот момент он тревожно зашипел: «Полиция» — и, сунув мне пиастры, исчез в толпе. Никакой полиции я не увидел, но, пряча пиастры в бумажник, обнаружил, что вместо шести купюр у меня оказалось всего четыре.

Немец хохотал чуть не до обморока, так рассмешила его проделка плута. Он потешался над моей неопытностью в денежных делах и пообещал утешить меня хорошей порцией холодного пива. Для этого ему также понадобилось разменять сотенную.

На сей раз перед нами предстал почтенного вида бродячий банкир и предложил всего пятьсот законных

по курсу пиастров. Немец, попытавшись принципа ради поторговаться, быстро согласился. Состроив мину опытного, видавшего виды финансиста, он получил от менялы огромный банковский билет, размером едва ли не с носовой платок, стоимостью в пятьсот пиастров. Прежде чем расстаться с долларами, мой немец долго разглядывал этот удивительный денежный знак. Затем, подмигнув мне, чтобы я не унывал, повел меня в пивную.

Усевшись под гигантским вентилятором, мы потребовали пива. Элегантный слуга, говоривший по-английски, принес два запотевших, пенящихся стакана.

— Получите, — небрежно сказал немец, протягивая ему индокитайский банкнот.

— Не годится, — ответил официант.

— То есть как это — не годится?

— Банкноты в пятьсот пиастров были отменены сразу после войны. Они ничего не стоят. Разве что коллекционеры дают за них два-три пиастра.

Обычно розовое лицо моего немца посерело, а затем побелело, не на шутку напугав меня. Он заметно вспотел и обреченно потянулся к своему национальному напитку.

Расплатившись, я принялся его утешать, пробовал даже осторожно шутить — все без толку. Сквозь зубы он пробормотал, что потеря ста долларов для него ровно ничего не значит, но то, что его, известного всему Гамбургу финансиста, надул паршивый меняла, нелегко перенести. Он попросил никому на пароходе не рассказывать о случившемся.

После такой душевной травмы мой сосед по каюте не сходил на берег до самого Марселя.

Я же едва справлялся с заказами на портреты, с лихвой оправдав стоимость плавания в первом классе.

В ПАРИЖЕ

Таня с Мишей жили у моей тещи, в той же квартире, где я студентом бывал чуть ли не каждый вечер. Вернувшись в Париж, я хотел прежде всего повидать их одних и назначил им свидание в кафе неподалеку от их дома.

Таня выглядела значительно лучше, чем при отъезде из Гонконга. Меня же поразила перемена в моем Мише. Когда уезжал, он был девятилетним ребенком, зависящим от папы и мамы, как и все дети его возраста. Теперь же передо мной сидел толковый парнишка, привыкший распоряжаться. Он был в курсе всех дел, отлично ориентировался в метро, с готовностью брался за любые поручения. Посоветовав мне не тянуть с возобновлением паспорта, объяснил, в какой отдел следует обратиться за выдачей удостоверения личности. Что же касается моего багажа, то он сам съездит за ним, если я ему поручу расписку.

Я не верил своим ушам. Однако за его практическими советами отчетливо проступали и радость нашей встречи и тревога за непрочность сближения его родителей.

Таня же, как и прежде, во всем зависела от окружающих и жаловалась на свое здоровье. Не успели мы обменяться несколькими фразами, как привычно раздраженный тон вновь овладел ею.

Как это я роскошествовал в первом классе, тогда как они отказывали себе во всем, довольствовались черт знает какими условиями?! Она не слушала моих объяснений — я как был, так и оставался эгоистом! Не в силах остановиться, она осыпала меня потоком упреков. Я был особенно подавлен злостью, с которой она смотрела на меня. Рушились мои надежды, — а ведь в ее письмах не было и тени агрессивности.

В отчаянии Миша пытался ее успокоить: «Да что ты, мама, так взъелась! Папа приехал, такое счастье, а ты напустилась с какими-то глупыми упреками!»

Видимо, мое присутствие вызывало в ней взрыв непонятной, не поддающейся никакой логике злобы. Как будто сшибались две противостоящие, изначально враждебные силы. При встрече со мной она бесилась. Именно бесилась...

Мне надо было найти постоянное жилище. В переполненных гостиницах комнаты сдавались на день-два. Везде красовалось объявление «Complet», то есть «Полно».

Несмотря на ту же обескураживающую надпись, я заглянул в свою старенькую гостиницу «Луи XV», на улице Сены, где я беспечально жил семнадцать лет назад. Постаревшая хозяйка, мадам Лесюр, узнала меня, предложила кофе, мы разговорились о прошлом, она — все больше о тяжких годах оккупации. У нее, как и повсюду, свободных комнат не оказалось. Услышав о моих безуспешных поисках, она призналась, поколебавшись, что на самом деле у нее есть невзрачная комнатенка, но едва ли она подойдет мне. С трудом поднявшись на шестой этаж, мадам Лесюр впустила меня в комнатку с окном в световой колодец. Старая моя хозяйка сокрушалась: «Конечно, это вам не «Риц». Хотя бы вот эти почерневшие обои — их давно пора сменить, но что вы хотите — за годы войны я отвыкла что-либо предпринимать».

То был не «Риц», но я стоял молча, пораженный улыбкой судьбы. На меня глядели те самые четыре стены, в которых я провел свои первые студенческие годы! Все как и прежде! Те же обои с пароходиками, тот же запах из окна. Сюда приходила ко мне Таня...

Мадам Лесюр обещала перевести меня в лучшую комнату, как только что-либо освободится. И через несколько недель я спустился на второй этаж, в большой номер с видом на улицу.

Обосновавшись в «своем» квартале, где мне помнилась каждая подворотня, я отправился ознакомиться с парижскими галереями в надежде найти сбыт своей живописи.

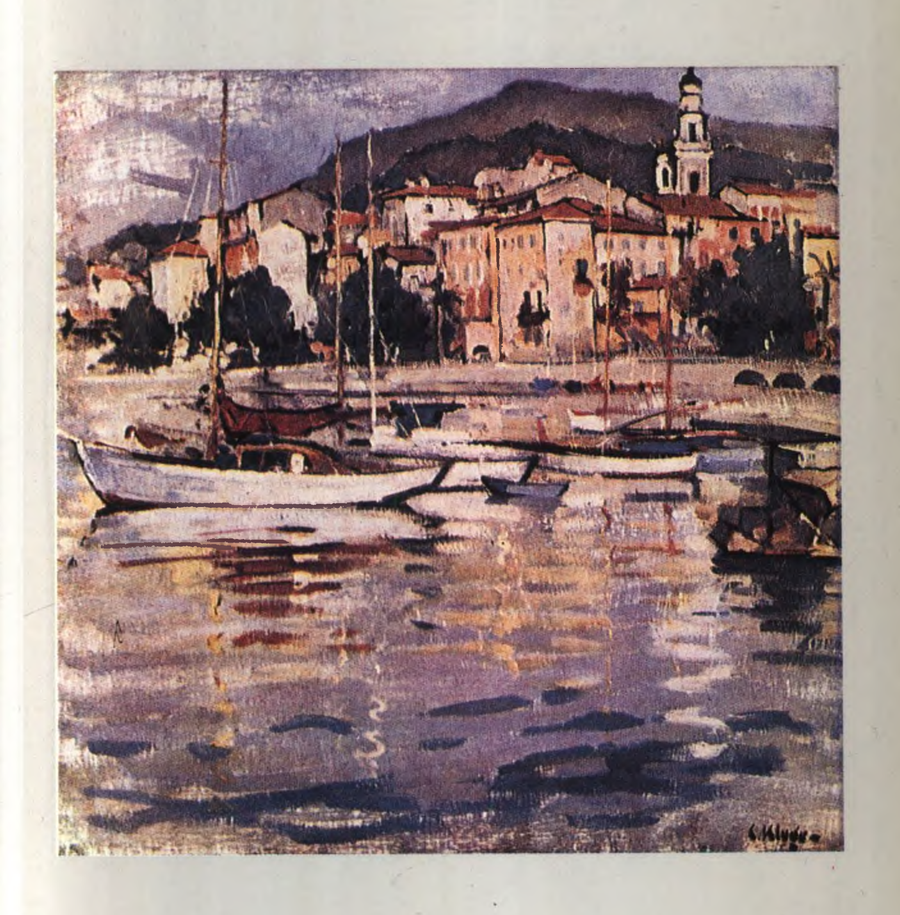
Увы, куда бы я ни обращался, везде были свои «договорные» художники. Удаляясь от центра, я забрел на Монмартр, на вершину холма. От небольшой площади, где цепочкой стояли работавшие над своими полотнами художники, сбегали в разные стороны улочки с де-

Бульвар Мадлен. 1952

Большие бульвары. 1970

Парижское кафе

Парк в Ментоне. 1960

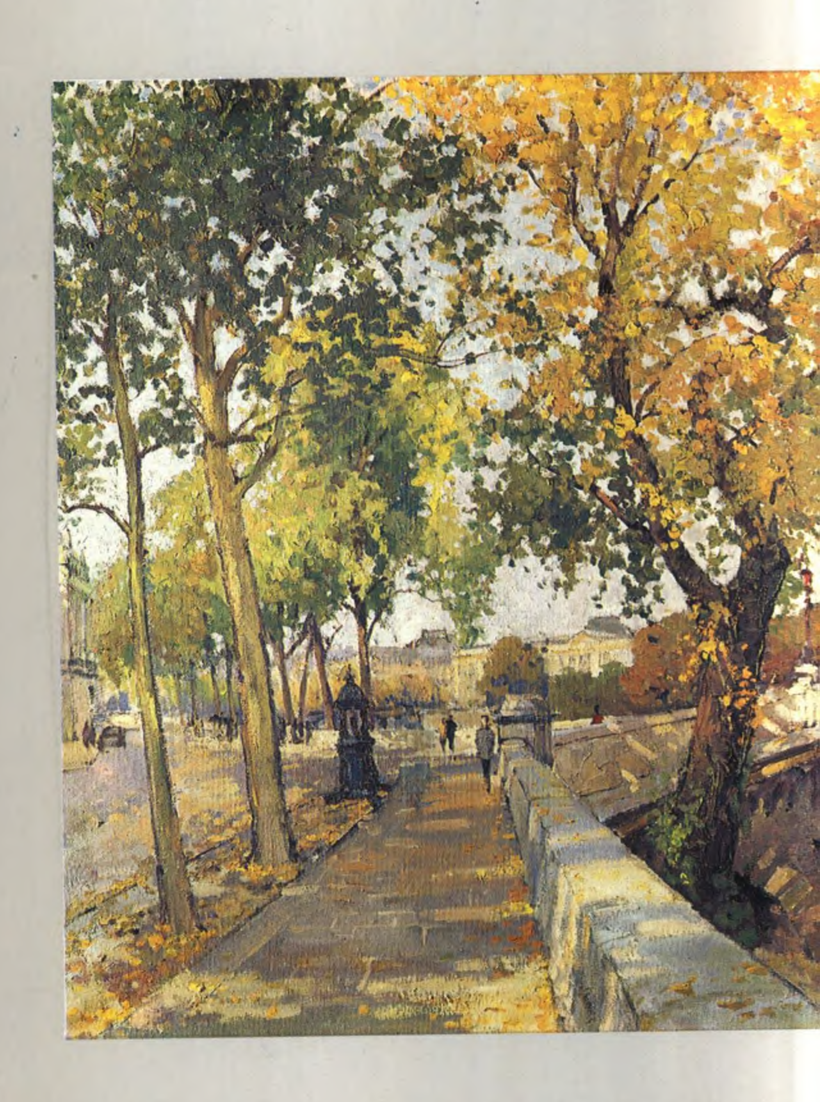


Яхты в Ментоне. 1960

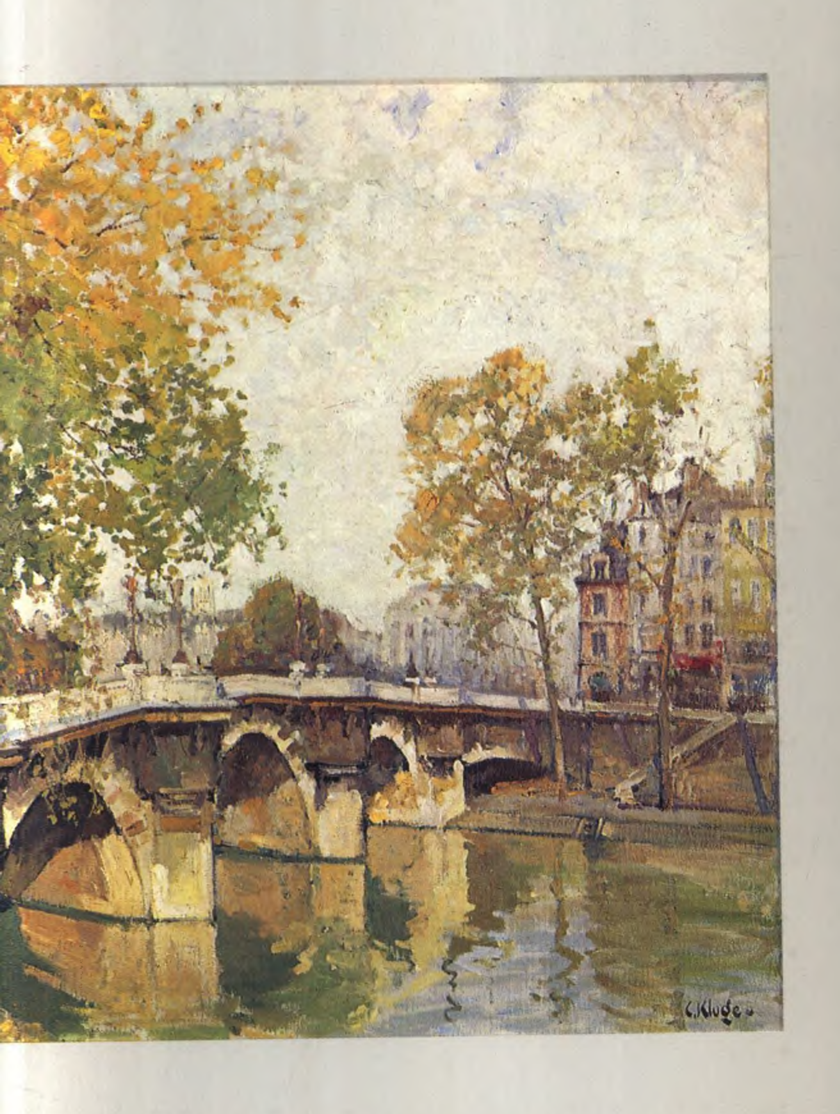
Старая мельница в Фонтэн-Шали. 1973

Нотр-Дам
Люксембургский сад. 1961

C. Kluge.



Новый мост. 1971


C.Kluge

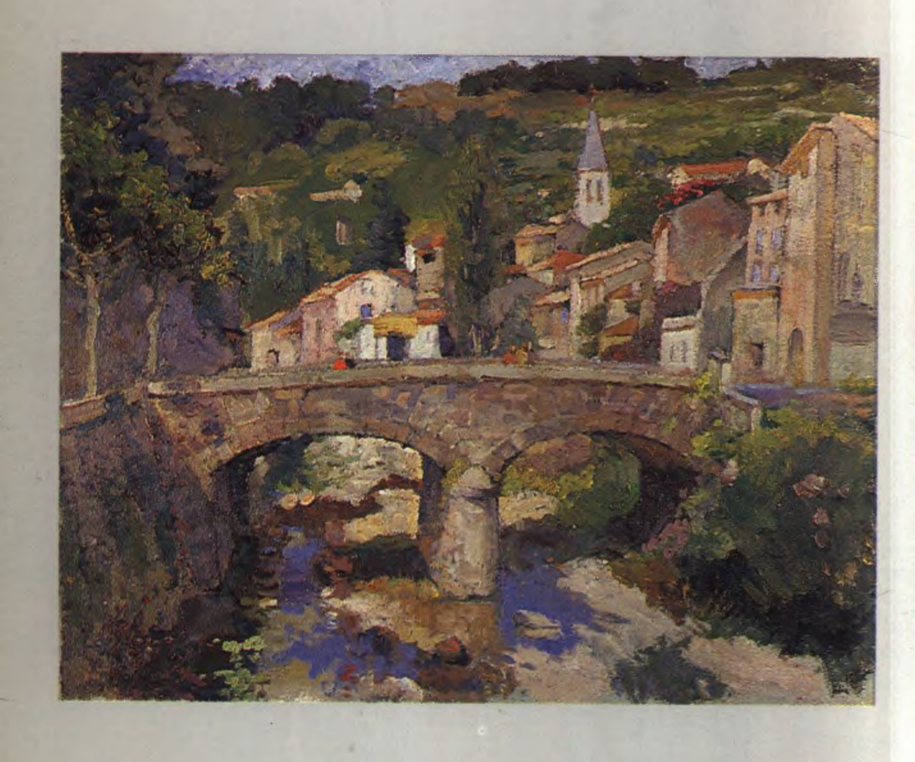
Замок Эрменонвиль. 1980

Мост Мари

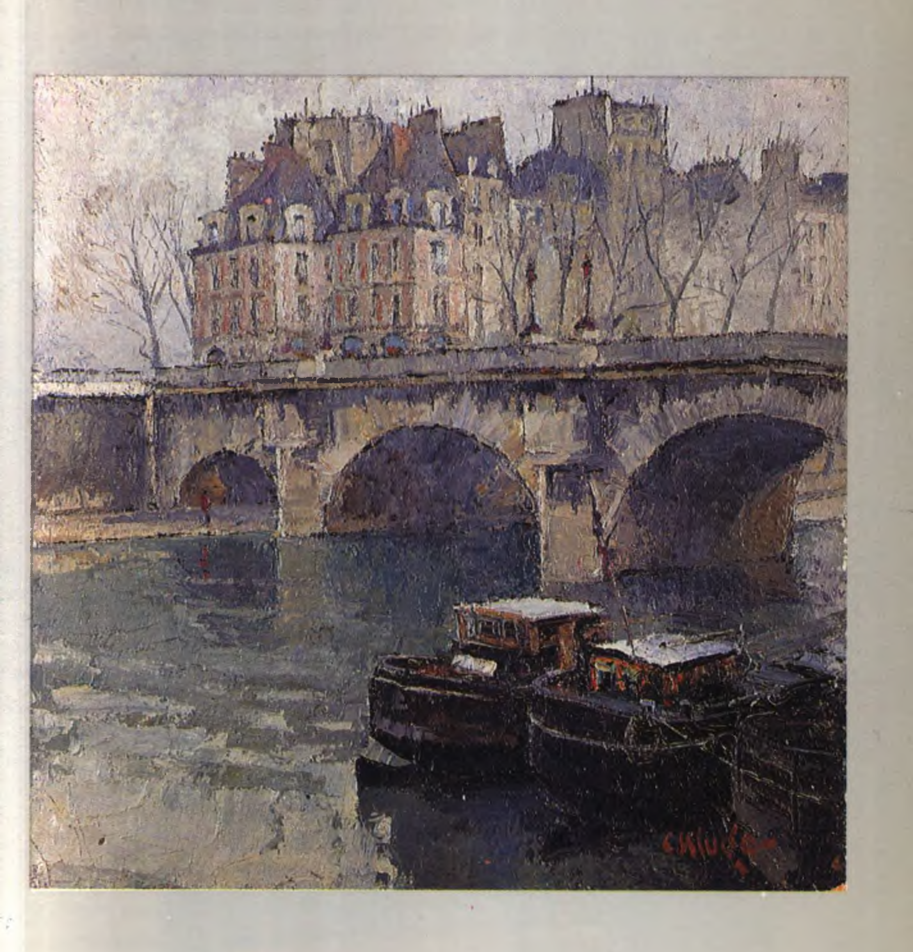
→

Мост искусств. 1972

Монпарнас. 1975



Замок Ларжантьер в Ардеже. 1977



Баржи в тумане. 1979

Художник и его дружок за работой.
1988

сятками лавочек, где продавалась дешевая живопись. Туристов завлекали и затаскивали туда чуть не силой. Из многочисленных кафе и ресторанчиков неслись звуки аккордеона или блеющего пения плохоньких шансонье.

В одной из таких лавчонок-галерей меня выслушал хозяин с испитой рожей алкоголика и, посмотрев на мои этюды, сказал, что, если я ему принесу виды Парижа, такие, чтобы их узнал любой турист, мой товар ему подойдет.

Стоял месяц май, туристы толпами осаждали Монмартр. Мои этюды стали продаваться так быстро, что я едва успевал их писать.

Вскоре я начал выставляться в куда более респектабельной галерее на фешенебельной Фобур Сент-Оноре.

Мне удалось снять старый дом с еще более старым, дряхлеющим садом в южном предместье Парижа, именуемом Со (Sceaux). За десять минут метро соединяло Со с Люксембургским садом. Миша поступил в местную школу. Я изредка приезжал к ним, всякий раз убеждаясь в невозможности восстановить добрые отношения с Таней. Она не без основания полагала, что в Париже у меня нет недостатка в женском обществе, и это тоже служило поводом к ссорам. То, что его родители жили порознь, терзало мальчика, влияло на его складывающийся характер. Спасаясь от гнетущей реальности, он на целые дни уходил в чтение. В их доме был огромный шкаф, набитый сотнями всевозможных книг. Я думаю, Миша прочел их все до последней. Он читал запоем, по книге в день. Школьные успехи от этого страдали. Случалось, вместо школы он забирался в «зал ожидания» станции метро, чтобы дочитать роман.

С десятилетнего возраста Миша проявил исключительные способности к рисунку. Покосившиеся в саду строения, мать в различных позах и ракурсах, котенок, домашняя утварь — все годилось, чтобы заполнять тетради живыми, точными зарисовками. Однажды, сопровождая меня в Париж на этюды, он принялся за молниеносные наброски зевак, стоявших за моей спиной. Рисуя, он не делал ошибок, никогда не нуждался в резинке. Могу сказать без преувеличения: как ни была набита моя рука, моему рисунку было далеко до Мишиного «крылатого» карандаша.

Как-то он удивил всех, объявив, что какой-то исторический роман так ему понравился, что он решил перевести его с английского на русский. Новое увлечение на добрых два месяца заняло все его вечера. Мише тогда было одиннадцать лет.

Школьные дела складывались плохо. Учитель словесности очень его хвалил. Учитель английского языка даже написал в его дневнике, что Миша весьма полезен: поправляет его произношение. Все остальные предметы он попросту игнорировал.

Дважды приходилось переводить его в другие школы, но и там он не мирился с обязательными правилами.

Мои работы заинтересовали директора именитой лондонской галереи. Наезжая в Париж по нескольку раз в год, он скупал большинство моих этюдов. Его представитель в Америке, разъезжая по Штатам, снабжал тамошние галереи современной европейской живописью.

Купив по случаю автомобиль, я стал расширять поле своей деятельности, ездить на этюды по французской провинции, по Бельгии и Италии. Лето пятьдесят третьего года я провел в Венеции, покоренный ее перламутровыми тонами. С восхода солнца и до того, как оно тонуло в лагуне, я писал отражавшиеся в каналах дворцы, бесчисленные мраморные мостики со скользящими под ними грациозными гондолами.

И все же, несмотря на опьяняющую красоту «жемчужины Востока», вернувшись в Париж, я убедился, что нигде мне так просто и естественно не пишется, как на берегах Сены.

В поисках новых сюжетов я ездил по предместьям Парижа, в Шату, в Буживаль, в Лей Менюль, по берегам Марны и Луары, с многообразием ее замков... Случалось, что в Буживале я расставлял свой штатив на углу улицы Ивана Тургенева. Тут он писал о России, поглядывая на Сену, на те же шлюзы и баржи.

МАРИЯ

В начале пятьдесят четвертого года не иначе как сама судьба привела меня в галерею, выходящую на площадь со статуей Жанны д'Арк. Беседуя с хозяйкой, я вдруг увидел свою прелестную модель — Марию Старр! Она заглянула спросить, где продаются масляные краски.

Мы едва не бросились друг другу на шею. Шесть лет прошло с нашей последней встречи в Гонконге, но она ничуть не изменилась, разве что ее густые волосы чуть потемнели. Усевшись в соседнем кафе, мы долго делились воспоминаниями.

Она с мужем остановилась в отеле «Мерис», тут же, на улице Риволи. Предложив мне звать ее по имени, она посоветовала принести несколько полотен, показать их ей и моему старому клиенту — ее мужу.

На следующее же утро гостиная их номера превратилась в подобие выставки моих работ. Ворчливый мистер Старр выбрал, хоть и без особого энтузиазма, несколько этюдов.

Старры собирались в Сент-Антон, австрийский городок, где Мэри намеревалась в течение нескольких месяцев пробовать свои силы в живописи. Ее муж должен был лететь на Дальний Восток с инспекцией тамошних отделений своего страхового общества.

Мэри поинтересовалась, не соглашусь ли я навестить ее в Сент-Антоне, когда она обоснуется там, и помочь советами в ее попытках в художестве.

Как и в былые встречи, эта обаятельная женщина очаровала меня, и еще многие дни ее нежный образ возникал в моей памяти.

Месяц спустя пришло письмо из Сент-Антона: Мэри приглашала меня приехать на несколько дней, написать портрет девочки с косичками, дочери ее лыжного инструктора, и заодно ее самой.

Когда парижский экспресс вынырнул из последнего туннеля и подкатил к залитой солнцем платформе,

я с радостью увидел ожидавшую меня Мэри. Гостиница, где она жила, находилась рядом с кукольным вокзалом Сент-Антона. Пока мы туда шли, прохожие приветствовали нас как друзей. Казалось, что Мэри знала их всех. Шумный поток, пробиваясь меж камнями, нес аметистовые воды под деревянным мостом. Облокотясь на перила, мы долго изливали друг другу радости и печали нашей жизни.

Дружеское отношение Марии к здешним горцам напомнило мне ее обращение с китайцами в Шанхае. Она принимала деятельное участие в их трудной жизни. По ее настоянию Старр финансировал постройку главной линии подъемника для лыжников с рестораном на вершине горы. Многие жители Сент-Антона состояли акционерами этих предприятий.

В Америке положение Старра требовало от них постоянного появления во влиятельных кругах, дабы обратить всеобщее внимание на растущий успех его дела. Такое показное существование глубоко ранило чувствительность Марии, с детства приученной к простоте и бесхитростности.

Чтобы разобраться в сомнениях и противоречиях окружавшей ее жизни, с которой ей приходилось мириться, она и сбежала в эти горы. Разобраться и решить, расходиться ей с мужем или, смирившись, жить по-прежнему.

Пытаясь перевести наш разговор на более общую тему, я стал посвящать Марию в свои размышления о грядущем объединении рода людского в нечто единое.

Такое слияние и для нее было чем-то желательным, только для его достижения, утверждала она, людям следует рассчитывать на свои собственные силы, а никак не на какого-то Создателя. Она не могла вообразить существование такого Бога, который заботился бы обо всех людях вообще и о каждом из нас в частности. Мэри была готова допустить, что когда-то и каким-то образом, как и все сущее, были созданы и люди. Но с тех пор наша судьба предоставлена нам самим. Восхвалять господнее имя, молиться этому Богу, якобы олицетворяющему любовь и доброту, она не могла уже хотя бы потому, что этот Бог допустил уничтожение Гитлером миллионов ни в чем не повинных евреев.

Я почувствовал, что она предпочитала не вдаваться в религиозные дискуссии. Ее детство было насыщено

обрядовостью, и она, как и ее муж, относилась к религии крайне скептически.

Возможно также, что на ее взгляды повлиял английский философ Бертран Рассел, гостивший во время войны два месяца у Старров. Помимо его книги «Почему я не христианин» она, видимо, была знакома и с другими трудами этого мыслителя. Говорила она о нем с особым жаром.

Когда в четырнадцатом году англичане сажали Рассела в тюрьму за упорное сопротивление мобилизации, тюремный служащий, заполняя опросный бланк, спросил его, какого он исповедания. Рассел ответил, что он атеист. «Что же, — вздохнув, заключил тюремщик, — верно, есть и такая религия, а Бог-то все един».

Едва ли многие помнят, что в один из наиболее критических моментов мировой напряженности, когда советские военные суда шли навстречу американским, преграждавшим путь на Кубу, Бертран Рассел обратился с открытым, мгновенно облетевшим весь мир письмом к Н. С. Хрущеву и Дж. Кеннеди с призывом одуматься. Не спасло ли тогда воззвание дряхлого старца нашу планету от уничтожения?..

Мария рассказала мне о своем детстве в Че-Фу — небольшом порту Северного Китая.

Она росла младшей из трех сестер. Родители-канадцы, выходцы из Шотландии, были пресвитерианскими миссионерами, прожившими в Китае сорок лет. Ее отец, доктор медицины Малколм, был хирургом. Мать, урожденная Прингл, кичилась своим знатным происхождением и попрекала мужа за его малоэлегантные манеры. Всю рабочую неделю доктор Ма, так его звали китайцы, врачевал бесчисленных жителей Че-Фу, а в воскресенье читал им проповеди на китайском языке.

До пяти лет Мария не знала другого языка, кроме китайского. С детьми родители не говорили по-английски. Пуритане, они строго блюли требования своей религии. Воскресенье считалось «господним днем», и Марии не разрешалось играть в теннис и уж тем более принимать приглашения на «парти». Восемнадцати лет она отправилась в Канаду, намереваясь стать сестрой милосердия. Но, прослужив в Ванкуверской больнице три года, она поддалась настойчивым уговорам молодого воздыхателя Джеймса, вернулась в Китай

и вскоре вышла замуж за этого повесу, служившего в страховой компании американца, господина Старра.

Джеймс слыл баловнем английской колонии Шанхая. Дружил с самыми влиятельными ее представителями, участвуя во всех их затеях и увеселениях. У него оказались скаковые лошади, приемам гостей не было конца. Мэри удивлял размах их жизни, но добиться от Джеймса каких-либо пояснений ей не удавалось.

Так длилось до того дня, когда мистер Старр, вызвав ее, сообщил, что Джеймс арестован: открылось, что он обобрал многих людей, убеждая их одолжить ему огромные деньги. Среди потерпевших был и отец Марии, отдавший Джеймсу все свои сбережения. В молодости доктор Малколм застраховался, и пятьдесят лет спустя страховка достигла большой суммы. Ее-то он и доверил своему симпатичному зятю, посулившему ему, как и другим кредиторам, златые горы.

Дальновидный Старр погасил долги своего служащего — все, кроме того, что Джеймс выманил у своего тестя... Мария тяжко перенесла удар. Больше всего ее мучила мысль об отце, обобранном на старости лет до нитки. Впав в глубокую депрессию, она долго болела.

За это время Джеймса выслали из Шанхая в Гонконг (европейцев сажать в тюрьмы не полагалось). Там он вскоре снова был уличен в жульничестве и отправлен в Индию. Вступив в ряды английских войск, Джеймс предпочел службу снабжения. Не удержавшись и тут от воровства, он был осужден на пять лет военного тюремного заключения.

Мария без труда получила развод. Несколько месяцев спустя Старр сделал ей предложение, дав понять, что обеспечит и ее родителей.

Этот средних лет американец был полной противоположностью Джеймсу. Угрюмый, серьезный, никому не пытаясь быть приятным, он тоже никем не был любим. Его уважали за исключительную проницательность и побаивались его злого сарказма. Никогда ни с кем не заводил он дружеских отношений.

Выйдя за него, Мария внесла в жизнь замкнутого холостяка радикальные перемены. Кроме того что дома в разных городах приобретали особое радушие благодаря приветливой молодой хозяйке, Старры были впервые приняты в тех кругах Нью-Йорка и Вашинг-

тона, куда прежде мрачному, не располагающему к себе бизнесмену не было доступа.

От родителей Мария унаследовала сердечное отношение к тем, кто не преуспел в жизни материально. Годы ухода за больными в Ванкувере упрочили ее постоянную заботу о нуждающихся. Отзывчивая и милосердная, она особенно остро ощущала пороки «золотого» американского общества.

За восемнадцать лет супружества всесторонне образованный Старр, безусловно, повлиял на интеллектуальное развитие жены, но приучить ее к роскоши, сблизить с людьми, жившими ради этой роскоши, ему так и не удалось. Его резкое обращение со служащими и официантами, а также манера выставлять напоказ свое богатство приводили Марию в отчаяние.

Старр не мог не понимать, насколько он травмирует чувствительность жены. Почему же, думал я, он годами упрямо держался своего, невзирая на упреки и болезненную реакцию жены? Мог ли он рассчитывать, что, свыкнувшись, Мария включится в чуждый ей мир и воспримет его отношение к людям?

Мне кажется, он поступал безотчетно, помимо своей воли. Родившись и выросши в нищете, среди алкоголиков и безнравственных бродяг, этот незаурядного ума и энергии человек взобрался на верхние ступени американского денежного общества и не мог сдерживаться от выражения самодовольства и демонстрации своего всемогущества там, где деньги владеют всем и вся.

В среде ему подобных нет места ни настоящему альтруизму, ни искреннему состраданию. Так и Старр был начисто лишен сердечной доброты.

Сопоставляя его характер с духовными качествами Марии, я невольно вспоминал символизирующего зло китайского дракона, который тщетно пытается проглотить солнце, источник всего земного добра.

С целью сократить свои налоги, а возможно, и в надежде приучить Марию к страсти обладания Старр перевел на ее имя солидную часть всего того, что он имел. Доходы с этих богатств позволили Марии основать медицинский исследовательский центр имени ее тогда уже покойного отца и учредить стипендии многочисленным студентам высших учебных заведений. По окончании курса большинству этих студентов предоставлялись места в различных предприятиях Старра.

Мария рассказывала о себе, пока я писал ее портрет или во время наших прогулок по склонам гор, окружавших Сент-Антон.

Чуть выше, в тени сосен, местами все еще виднелся слежавшийся снег, но склон горы, где вилась наша тропинка, был покрыт дикими цветами, доходившими нам до колен.

Мария предложила спуститься по откосу напрямик. Взявшись за руки, бегом, прыгая через препятствия, тяжело дыша, мы остановились и... в порыве взаимного влечения оказались в страстном объятии.

Наутро я написал Старру, что Мэри и я решили никогда не расставаться и просим его не отказать ей в разводе. Мария припиской к письму подтвердила мои слова.

Она и прежде мечтала развестись с мужем, но никогда не решилась бы на этот шаг, чувствуя себя связанной и зависящей от него. Ее удерживало и сознание признательности за его щедрое отношение к ее родителям до конца их дней.

Соглашаясь очертя голову разделить мою жизнь, она пускалась в рискованную авантюру. Я не скрыл от нее, как скромны и нерегулярны мои заработки, сколь примитивно мое существование в сравнении с тем, к чему она привыкла. Она стала меня уверять, что с облегчением расстанется с прежней жизнью. «Что же касается всего необходимого, — добавила она, — то мы в нем никогда не будем испытывать недостатка благодаря доходам, которые приносит мне мое личное состояние».

Не будучи в курсе ее дел, я был ошеломлен сказанным. Все крайне усложнялось и требовало серьезного раздумья. Поняв мое замешательство, Мария вывела меня из него, спросив, придаю ли я столь решающее значение материальным благам.

Нет, конечно, нет! Она была права. Никакие расчеты не должны препятствовать нашему сближению!

Получив мое письмо, Старр телеграфировал Марии о намерении немедленно вернуться для выяснения случившегося.

Прилетев в Сент-Антон, он был поражен спокойствием и решимостью обычно такой уступчивой жены.

Она повторила: решение остаться со мной непоколебимо и никакие доводы его не изменят.

Возвратясь в Нью-Йорк, Старр уверял знакомых, что жену постигло временное увлечение. С этим расчетом он стал подсылать Марии одного за другим друзей и родню, надеясь, что они убедят ее одуматься и вернуться в Америку.

По просьбе Марии, я не возвращался в Сент-Антон, жители которого были на стороне их американского благодетеля. Мы назначали свидания то в Брюсселе, то в Цюрихе и, наконец, в Канне. Даже несколько дней разлуки казались нам невыносимыми.

В Канне Мария захотела выяснить мои отношения с Таней и попросила вызвать ее туда на свидание.

После ужина мы втроем вышли в еловый парк, окружавший гостиницу. Без предисловий Мария объявила Тане, что она и я намерены жить вместе, но поскольку у меня есть жена и сын, то, если Таня с этим не согласна, она сейчас же со мной расстанется и больше никогда меня не увидит.

Нас окружала звездная ночь. Тишину нарушали лишь там-сям запоздалые цикады. Я затаил дыхание. Мария не предупредила меня, чтó именно она намеревалась сказать Тане. Три наши судьбы повисли в ночной тишине.

Нет, Таня нисколько не сожалела о потере такого мужа, как я. Наоборот, она была благодарна Марии, избавившей ее от меня.

— Я только хотела услышать из ваших уст, каковы ваши отношения с Константином, — ответила Мария.

Это было все.

Сразу после этого свидания Мария переехала в Париж.

Поначалу мы снимали скромную квартиру в дешевом районе города, но она находилась далеко от мест, где я писал свои этюды, и мы переехали в гостиницу на набережной Сены, вблизи Нотр Дам.

В те дни помимо владельца лондонской галереи у меня появился оптовый покупатель из Нью-Йорка, и хотя мои доходы уступали доходам Марии, в совокупности наши средства позволяли нам жить весьма комфортабельно.

Попытки самого Старра и его посланцев убедить Марию «взяться за ум» оставались безрезультатными.

Принявшись активно за поиски постоянного жилища и отвергнув несколько предложений, Мария остановилась на отличной квартире в три комнаты, с обширной мастерской художника, на бульваре Сен-Мишель, рядом с Люксембургским садом. Переехав туда, мы с увлечением принялись за устройство и меблировку нашей квартиры.

По мере того как плоды моих трудов успешно продавались и в Париже и в Америке, у меня развилась безошибочная сноровка, благодаря которой мои этюды достигали максимальной ходкости, особенно среди туристов. Я делался популярным у торговцев живописью, но одновременно художественный уровень моих работ отчаянно падал. То, что в Китае было искренним выражением моей устремленности к искусству, превращалось в лубочную халтуру.

К счастью, Мария — а она тоже принялась за живопись — стала настойчиво восставать против моего псевдохудожества. Хотя ее первые шаги были подчас нерешительны, но я сразу обнаружил в них безошибочное гармоническое сочетание красок. Она обладала инстинктивным чутьем колорита. Несмотря на неточность рисунка, ее натюрморты и букеты цветов буквально освещали свежестью нашу мастерскую.

Следуя ее примеру и настояниям, я стал стремиться к более достойной живописи.

Находя загрунтованное полотно недостаточно шероховатым, Мария принялась за эксперименты, изменяя его поверхность и фактуру, придавая грунту также разнообразную тональность. Ее открытия в этой области оказались полезными и мне.

Мария обладала особенной способностью привлекать к себе сердца людей простотой обращения. Она умела относиться по-дружески даже к тем, кто ей не очень нравился.

Наши парижские друзья стали называть ее по-своему — Мари или, как я, Марусей. Настойчиво взявшись за изучение французского языка, она вскоре им овладела, хотя по привычке я так и не перестал с ней говорить по-английски.

Пользуясь моим руководством в рисунке и композиции, Мария с успехом перешла и на пейзаж.

Так мы оба, она — опираясь на мой опыт, а я — на ее безошибочное чувство колорита, продвигались в искусстве, приобретая нечто общее для нас обоих.

В поисках сюжетов мы исколесили Францию с севера до юга. Почти всегда нас сопровождал четырнадцатилетний Михаил. Как только Мария поселилась в Париже, он привязался к ней всей душой. Благодаря ей Миша снова заговорил по-английски, посвящая ей, бывало, свои стихи.

Я уже упомянул о том, что с десяти лет Миша стал прекрасно рисовать. Во время наших поездок по провинции, в Бельгию, Венецию и Южную Францию он заполнял тетрадь за тетрадью удивительными набросками карандашом и пером.

Я купил ему все необходимое для работы маслом, и вскоре мы могли наблюдать рождающийся сильный талант. Кроме всего, Миша обладал еще и неистощимой фантазией.

Мы определили его пансионером в частное учебное заведение «Эколь дей Рош», находившееся в ста километрах от Парижа. Навещали мы его по воскресеньям.

По настоянию Марии я купил Тане в рассрочку четырехкомнатную квартиру в восточном предместье Парижа, называемом Кретей, куда она немедля переехала.

В один из своих визитов в Париж Старр предложил Марии прислать ей из Америки «роллс-ройс», подаренный ей год назад. Посоветовавшись со мной, она согласилась. Признаюсь, я не стал ее отговаривать. «Роллс-ройс» так «роллс-ройс», все мне в те дни казалось прекрасным. Возможность возить свою красавицу по дорогам Франции в этой сказочной машине казалась мечтой.

Месяц спустя перед нашим домом стояла элегантная машина цвета матового серебра, с узким длинным корпусом и с коралловыми инициалами «M. S.» на дверцах. Кожаные сиденья были того же цвета. Два места спереди, два сзади. На багажнике надпись: «Silver down» — «Серебряный восход».

Я подарил русскому приятелю свой «форд», и мы отправлялись в автонабеги то на замки Луары, то в Лондон, то еще куда-нибудь. Мотор у этого шедевра автомобильного искусства едва шелестел, когда мы обгоняли любые машины на самых крутых подъемах

Одного только я не предвидел: некоторые знакомые перестали здороваться со мной — «роллс-ройс» не соответствовал условиям жизни малоизвестного художника. Но меня это не тревожило и наш «Серебряный восход» не послужил поводом к каким-либо домашним или любым другим недоразумениям. Года через два нам пришлось признаться, что стоимость содержания и починок этой машины разорительна, и Мария ее продала. Я же приобрел отличную машину французского производства.

В пятьдесят девятом году я опубликовал свой «Анализ Нового завета» под громким заглавием «Коммунизм Христа»*. Мой труд в двести двадцать страниц вызвал кроме бесчисленных читательских писем не менее полусотни газетных статей. О нем писалось во Франции, Бельгии, однажды статья даже заняла всю первую страницу «Женевской трибуны». Многие хвалили книгу, другие, наоборот, негодовали. Католический ежемесячный журнал обзора прессы объявил меня лично «нежелательным» — таково было заглавие статьи на его первой странице.

Мария с рвением взялась переводить мой «Анализ» на английский язык. В течение трех месяцев ее машинка трещала весь день.

В Лиссабоне книга привлекла внимание молодого юриста самого левого толка. Он обратился ко мне с просьбой разрешить ему перевести книгу на португальский. Вскоре я получил его машинописную португальскую копию. У власти был Салазар, и об издании такой книги в католической Португалии не могло быть и речи. Энтузиаст-переводчик, приехав погостить у нас в Париже, мечтал об издании нашего труда в Бразилии.

Мы были бесконечно счастливы. Наше счастье, однако, омрачалось разрывом с семьей моего брата, прервавшей со мной всякое общение из-за моей связи с Марией.

Трудно сказать, что больше всего восстановило их против меня. Было ли это из-за того, что Мария и я жили, как говорят англичане, да и правоверные русские,

---

*В данное время эта книга переводится мною на русский язык.

«в грехе», или то, что сойдясь, мы «разбивали два очага»? Вряд ли они могли так уж печься о моем очаге: мой давний, уже четырехлетний разрыв с Таней был им хорошо известен.

Понадобилось пять лет, чтобы брат, прилетев в Париж, позвонил нам. Я был поражен, с каким искренним доброжелательством Мария, взявшая трубку, отозвалась на его желание повидаться с нами. С тех давних пор между нею и семьей брата завязалась дружба, длящаяся и по сей день.

Старр по нескольку раз в год прилетал в Париж и через своих местных служащих приглашал Марию пообедать, — каждый раз он уговаривал ее вернуться.

Однажды позвонил какой-то сомнительный делец, представившийся другом известного Марии нью-йоркского адвоката, и попросил меня о встрече. Поговорив о тем о сем, он от имени Старра предложил мне какие-то акции на баснословную сумму, чтобы я разъехался с Марией.

— Надо было поторговаться, запросить гораздо больше, — хохотала Маруся. — Мы бы знали, во сколько меня оценивают!

Года через четыре после того, как она поселилась в Париже, Мария согласилась-таки на мои просьбы устроить выставку ее работ. Для этого мне понадобилось побороть ее буквально болезненную скромность. Выставка M. Malcolm состоялась в известной галерее в центре Парижа.

Посетители и критика приняли ее весьма благосклонно. Несколько полотен были сразу проданы, поколебав убеждения Марии в ее принадлежности к «художникам по воскресеньям», как их называют французы.

Старр был предупрежден и прилетел, прихватив с собой наиболее известного в Нью-Йорке торговца живописью, продавшего как-то ему пейзаж Ван Гога.

Получив заверение, что не встретит меня на выставке, Старр появился и был поражен столь ярким дарованием и мастерством. Не сдержавшись, он предложил Марии создать ей всемирную известность, если...

— Видимо, вы плохо знаете меня, предполагая, что меня хоть сколько-нибудь может прельстить знаменитость, — ответила она совершенно искренне.

Мне кажется, надежды Старра окончательно рухнули, когда, осмотрев ее выставку, он понял, что Мария принадлежала миру, ничего общего не имеющему с миром, в котором вращался он, да и с ним самим тоже.

Вскоре после этой выставки из Америки прилетела подруга Марии, поразившая нас новостью: Старр соглашался на развод, но с условием, что Мария возвратит ему всю недвижимость и собственность, которые когда-то были переведены им на ее имя.

Как поступить? Она обратилась за советом ко мне.

Развод давал нам возможность пожениться, но это не имело для нас особого значения, мы и так жили вполне счастливо.

Я посоветовал ей отделаться от Старра и от всего того, что он требовал, порвав заодно и все связывающие ее с ним официальные узы. Никогда не забуду, с какой радостью она согласилась со мной.

Поставив такое условие, Старр, вне сомнения, испытывал и меня. Окажи я сопротивление, Мария истолковала бы его моей корыстной заинтересованностью. Мало людей, которые не стремятся к обладанию благами земными, но гораздо меньше тех, кто, владея ими, готов без малейшего колебания от них отказаться. Именно так поступила моя Мария. Недаром Настасья Филипповна, героиня Достоевского, бросая в огонь целое состояние, вызывает восхищение читателя.

Нью-йоркские друзья Марии, навещая ее, в один голос твердили о несправедливости Старра. Своим редкостным успехом в делах, а следовательно, и богатством он не в последнюю очередь был обязан тому, что хозяйкой его радушного, гостеприимного дома годами была Мария.

Нетрудно вообразить, как подействовала на Старра ее готовность отдать все, что она имела. С этого момента он перестал искать с ней встреч, но сообщил, что возвращенное ему имущество послужит основанию особого фонда студенческих стипендий — Starr Foundation.

Последняя их встреча состоялась в американском консульстве в Женеве.

Перед тем как Мария расписалась под бесконечными документами, консул многозначительно спросил ее в присутствии Старра и его адвокатов, не находится ли она под воздействием наркотиков — настолько ее добровольный акт казался ему невероятным.

— Вы уверены, что никто не ударил вас по голове? — допытывался он, используя популярное у американцев выражение. — В подобном случае моя обязанность — вас защитить.

Мария уверила его, что она в совершенно здравом уме и рада случившемуся:

— Ценой этих формальностей я обретаю независимость.

Свободная и счастливая, она покинула консульство одна, сохранив за собой лишь принадлежавшую ей одежду и квартиру на бульваре Сен-Мишель.

Как-то ранним утром у нас раздался звонок. Я пошел открывать. За дверью стояли двое в штатском. Один из них, назвав себя комиссаром полиции шестого района, спросил, догадываюсь ли я о причине их посещения.

— Откровенно говоря, нет.

— Мой визит, месье, называется констатированием адюльтера. Вы живете у мадам Старр и вы — ее любовник?

Я попросил комиссара и его инспектора войти, сказав, что он ничуть не ошибается. Придерживаясь правила, они пожелали осмотреть спальню и не отказались от кофе, предложенного им Марией. Инспектор сходил на кухню, чтобы отпустить полицейского, стоявшего за дверью на черной лестнице, очевидно, на случай моей попытки улизнуть.

Старр располагал всеми доказательствами нашей связи, включая и письма. Трудно вообразить, зачем ему понадобился такой бессмысленный поступок.

В декабре пятьдесят девятого года после развода четы Старр Мария и я были обвенчаны мэром шестого района Парижа.

К тому времени я выставлял каждую весну несколько своих работ в знаменитом «Salon des Artistes Français» и был награжден сначала серебряной медалью, а в шестьдесят втором году и золотой.

Сторонники «нереалистической» живописи всячески пытаются дискредитировать этот «Салон», напоминая, что сто лет назад им были отвергнуты импрессионисты. Несмотря на это, к его открытию всякий год съезжаются как знатоки, так и торговцы живописью из многих стран.

На одном из вернисажей ко мне обратился хозяин крупной чикагской галереи и с тех пор стал регулярно скупать мои полотна. Кроме Чикаго он владел галереями в Нью-Йорке и во Флориде. Впоследствии его галереи открылись также в Калифорнии и в Париже.

С того времени вот уже двадцать семь лет, как мои полотна выставляются исключительно в этих галереях.

Вскоре после поступления Миши в респектабельную Ecole des Roches на него последовали жалобы. Оказывается, он позволял себе глумиться над религией и вел себя противно правилам училища. Директор звонил мне несколько раз, предупреждая, что вряд ли этот, правда очень способный, ученик сможет удержаться в их заведении.

Скандал и изгнание случились вот как: я послал две Мишины вещи на ежегодную выставку французских художников, и обе они были куплены Министерством искусства! Я неосторожно сообщил ему об этом, да еще и послал по телеграфу немного денег.

На радостях Миша пообещал своим одноклассникам устроить по окончании учебного года пирушку a la russe и перепоить всех водкой. Но, чтобы тут же отметить неслыханный успех, он увлек с собой двух товарищей в соседнюю деревню, где можно было выпить, и изрядно надрался, прихватив на обратный путь еще две бутылки вина.

Ночью его рвало, а наутро директор кричал мне в трубку, что его школа не приют для алкоголиков и что в таком-то часу я могу встретить своего сына на таком-то парижском вокзале.

С тех пор, не впервые изгнанный, Миша жил то у нас, то у Тани в Кретее.

Летом я нашел ему хорошего репетитора по математике, и с осени он смог продолжить свое образование в лицее. По окончании Миша, живя у нас, посещал частную академию художеств, где рисовал углем поразительные этюды с натуры.

Семнадцатый год был для него романтической порой. Случилось, что, проводя лето с матерью в австрийском Тироле, он влюбился в блондинку — дочь местного булочника. Не зная немецкого, он общался с ней больше жестами. Однако, вернувшись в Париж, он писал своей

возлюбленной бесконечные письма, обращаясь за помощью то к словарю, то к Марусе.

Позже, познакомившись в Париже с ровесницей, родившейся, как и он, в Китае, Миша стал рисовать ее многочисленные портреты, перестал твердить о своем будущем, в котором видел себя альпийским пастухом, разделяющим простую, но здоровую жизнь с блондинкой — обладательницей глаз цвета незабудки.

В то «тирольское» лето Миша писал этюды гор и долин Австрии, окруженных на восходе солнца легкой дымкой.

В своих письмах моя сестра Оля советовала отправить Михаила погостить у нее в Австралии, уверяя, что ему будет полезно хоть полгода пожить без родительских наставлений.

Пораздумав, мы отвезли Мишу в Англию, откуда он отплыл в дальнее плавание, в Сидней.

Не прошло и нескольких месяцев, как в длинной телеграмме Миша просил тотчас же выслать ему мое разрешение на бракосочетание с австралийской Дианой. Ему тогда исполнилось двадцать лет, и отцовское разрешение следовало засвидетельствовать в австралийском посольстве. Одновременно пришло письмо от Ольги, — она настаивала на моем срочном согласии, не объясняя причины. Пришлось подчиниться. А через пять месяцев у Дианы родилась дочь Таня. За ней последовали Аманда, Константин-Христофор и Сильвия.

В семьдесят втором году я дважды летал навестить своих в Австралии.

Обосновавшись в Австралии, Миша в первые два года писал маслом поразительные композиции, сначала придерживаясь реальности, но частично уступая ей в фантазии. Кое-что ему удавалось продавать в местной галерее. Периодически он и нам присылал свои полотна. Однако шло время, и нам пришлось с горечью убедиться: живопись Миши теряла оригинальность, богатство колорита и, главное, жизненность. Повлияли ли так требования его сиднейских покупателей или, вернее всего, давила сложность домашней обстановки, но его яркий и самобытный талант «усыхал». Сознавая это, он терял влечение к краскам. Изменись его житейские условия, вернулся бы он к искусству с обновленным рвением.

ЮРИЙ ГЕРМАН

Как-то в конце пятидесятых годов я возвращался поездом из Брюсселя. Мне приходилось тогда часто ездить в Бельгию — меня там привлекал живописнейший город Брюгге. К тому же бельгийцы — большие поклонники живописи. В доме любого крестьянина можно увидеть картины, исполненные масляными красками. Во Франции, увы, этого нет — деревенские жители довольствуются репродукциями из календарей.

— Что же, значит, вы можете так вот красить и красить среди недели? — спросил меня однажды наблюдавший за моей работой французский фермер.

— Но ведь это же мое ремесло, — оправдывался я.

— Удивительно! Неужели есть люди, которые платят за это деньги?

Он, видимо, был возмущен, что здоровый мужчина занимается пустяками, да еще в рабочий день недели. Подумав, он добавил:

— Возможно, это ценят, — все же ручная работа.

В Бельгии отношение совсем другое. Моя выставка в Брюсселе прошла превосходно.

Итак, я сел в экспресс, соединяющий столицы Франции и Бельгии за два с половиной часа.

Напротив сидели две симпатичные женщины, мать и дочь, болтавшие без умолку на русском языке, не подозревая во мне соотечественника. Лицо матери показалось мне знакомым. Не выдержав, я заговорил с ними, — меня всегда влечет разговор на родном языке, да и неловко было оставаться невольным подслушивающим. Мои спутницы обрадовались, и завязалась самая дружеская беседа. Мы поразились, как быстро пролетело время, когда поезд, сбавляя скорость и скрипя тормозами, входил на Северный вокзал Парижа.

Не желая потерять из виду милых знакомых, я протянул старшей свою визитную карточку. Взглянув на нее, потом на меня с видимым волнением, она истово перекрестилась и воскликнула:

— Как, это вы, Костя Клуге! Неужели вы не помните, как тетя Оля привела вас ко мне в Везине — вы тогда поступали в академию искусств?

Так вот кто была эта красивая дама — моя кузина Дина Яцина, у которой я бывал в тридцать первом году. У нее тогда еще не было детей, а теперь, тридцать лет спустя, она имела внуков.

Не откладывая я отправился навестить своих дальних родственников. Муж Дины, Женя, большой балагур, вспомнил, что студентом я носил бороду, и, естественно, глядя на мою бритую физиономию, Дина не могла меня узнать.

Когда я однажды появился в студии без бороды, мои товарищи возмутились, заявляя, что теперь я ни на один «су» не похож на «мужика»*. В тот год они меня звали Горгуловым, бородачом, застрелившим президента Поля Думера.

Дина и Женя наперебой рассказывали о себе и о трагической судьбе нашей общей тети — Оли. До войны она с мужем-адвокатом жила в Эстонии. Большой патриот, он радовался, когда Красная Армия вошла в Таллин, освободив их от немецкой оккупации. Но не прошло и нескольких недель, как за одну ночь добрая половина мужского населения города была арестована и выслана в глубь России. С того дня тетя Оля ничего не знала о своем муже. Он пропал без вести!

Впоследствии ей пришлось переселиться в Швецию, откуда она, обратясь за помощью к своему племяннику, писателю Юрию Герману, неустанно пыталась наводить справки о судьбе мужа. Несмотря на многочисленные связи и настойчивость Юрия, все попытки узнать что-либо оказались безрезультатными. В своем последнем романе Юрий описывает подобную бесплодную попытку розыска исчезнувшего.

Приняв шведское подданство, тетя Оля ездила несколько раз в Ленинград к Германам, жила у них на даче, где Юрий читал ей главы из своих рукописей.

Приехав в Париж, он мне рассказывал о нашей тетушке, уверяя, что такие типы можно найти лишь в романах XIX века.

---

*Тогда во Франции были еще в ходу большие медные монеты стоимостью в пять сантимов. Их называли «су». В разговоре франк обычно назывался «двадцать су», а пять франков — «сто су».

Так, однажды случилось, что, приехав в Ленинград, тетя слегла с инфарктом. Поднял ее на ноги, причем очень быстро, приглашенный Юрием знаменитый кардиолог. Было известно, что, выросши в сибирской глуши, с трудом обучившись грамоте, он отправился в Москву и поступил в медицинский институт. Со временем он сделался профессором-кардиологом, известным на весь Советский Союз. Однако манеры, особенно поведение за столом, все еще выдавали его деревенское происхождение.

Поправившись и уезжая в Швецию, тетя Оля спросила, кому бы оставить что-нибудь в подарок. Юрий посоветовал ей не забыть профессора. Фыркнув, тетка заявила, что «не намерена делать подарки людям, не умеющим сморкать свой нос».

Такая реплика была характерна для тети Оли, получившей душевную травму при аресте мужа, травму, нанесенную теми, кто был для нее олицетворением невежества, хамской грубости, безграмотности и т. д.

Так вот, узнав о своей тете, я написал ей подробное письмо. Она тотчас же откликнулась и немедля прилетела к нам в Париж.

Жена и я были очарованы элегантной седой дамой, говорящей на безукоризненном французском языке. Еще в ранней молодости она слушала лекции в Сорбонне, а последние годы обучала языку Мольера шведов, находя, что нынешние французы допускают в речи кощунственное невежество.

Очень волнуясь, она описала нам весь ужас той ночи, когда забрали ее мужа. В ее словах слышалась незаживающая боль и ненависть к советскому строю.

Когда я пытался выдвинуть свои доводы, она сердилась, перебивала, называла меня ничего не разумеющим дураком. Заодно с коммунизмом она ненавидела и все проявления социализма, приводя примеры из жизни в Швеции, казенщину, хотя бы в здравоохранении. Она поражала нас своей начитанностью. Казалось, нет ни одной стоящей книги, выходящей во Франции, которую бы она не прочла. Нас она постоянно тянула в театр, удивляясь нашему «захолустному существованию».

Мне она настойчиво советовала не откладывая написать моему двоюродному брату Юрию в Ленинград, уверяя, что мои письма не могут ему повредить, настолько он там популярен.

Ее рассказы о поездках в Россию были трогательны. Юра нежно любил свою страдалицу-тетку, прощая ей не всегда логичные суждения.

Живя в Ленинграде, она то и дело ссорилась со своей сестрой, Юриной матерью, и никак не ладила с его женой, Таней, вечно вмешиваясь в их семейную жизнь. Только наедине с племянником, писателем, находила она душевное спокойствие. Ему же были интересны ее описания зарубежной жизни — той, где можно говорить и писать все, что вздумается.

Вскоре от Юры пришло радостное подробное письмо, и у нас завязалась регулярная переписка. Как и его книги, Юрины письма дышали добродушным отношением к людям и готовностью прийти им на помощь.

Он стал посылать мне свои книги и книги друзей — прозаиков и поэтов.

Лет за пять до того, как нашелся след Юры Германа, мне довелось ужинать у близких знакомых. Среди гостей был швейцарец, некто Дюк, родившийся и выросший в России и превосходно говоривший по-русски. Разговор зашел о литературе, и Дюк заявил, что недавно он перевел на французский и издал в Париже две поразительные повести, «Лапшин» и «Жмакин», талантливого советского писателя Юрия Германа. Мне не сразу поверили, когда я сказал, что мать этого писателя и моя мать — родные сестры и близнецы.

Хорошо помню этот момент, словно всемогущая Судьба давала мне знать о чем-то важнейшем, ожидавшем меня в будущем.

Ω

В декабре шестьдесят третьего года я получил телеграмму: «Прилетаем завтра с группой работников кинематографии Юрий Таня». Был указан аэропорт и час прилета.

Я с волнением следил за спускавшимися по трапу пассажирами.

Юру я узнал по тому, как сам он отыскивал меня среди ожидавших. По сравнению с фотографиями он выглядел сильно постаревшим.

С Германами сошли на французскую землю человек тридцать актеров, режиссеров и кинооператор «Ленфильма».

Молодая женщина властно рапоряжалась ими:

— Товарищи, не расходитесь! Не отходите от группы! Автобус ждет при выходе, вы получите багаж в гостинице.

— В гостиницу! — крикнул мне Юра. — Езжай в гостиницу!

Наконец-то мы оказались в их номере. После объятий и восклицаний Таня оставила нас наедине.

О чем мы только не переговорили, перескакивая с одного сюжета на другой! Если и помнилась нам первая встреча в далеком пятнадцатом году, то, скорее всего, благодаря сохранившейся фотографии.

Юра удивился тому, как я свободно говорю по-русски. Тогда я стал употреблять модные словечки, которые в ходу у советской шпаны и которые я вычитал из Юриной же книги.

Так, радуясь встрече, мы толковали часами то о нашей жизни, то о надеждах на будущее. Поразила нас даже не близость наших суждений, а их полная тождественность. «Два сапога пара!» — смеясь говорил Юра. Поразила и потому, что мы прожили жизнь в двух разных мирах, учились по-разному, общались с непохожими людьми, а склонности и чаяния наши оказались сходными, совпали.

Казалось, что беседе не будет конца. Я рассказал Юре о близком знакомстве с знаменитым палеонтологом и философом Тейяром де Шарденом, о его теории эволюции жизни на Земле. С Тейяра разговор перешел на волнующую меня тему о кричащем несоответствии учения Христа подделкам этого учения, приведшим нас к тому, что ныне называется христианской религией. В целом Юрий был согласен с моими выводами, но заметил, что в современной России главный вопрос, как пережить неслыханные жизненные трудности, и эта задача вытесняет все размышления как о религии, так и о будущем Человечества. Подобные умозаключения кажутся там роскошью.

Советские люди, говорил Юра, только и слышат об их замечательном, но почему-то никак не сбывающемся будущем. Такие увещевания напоминают ему поповские посулы блаженства, ожидающего в загробной жизни безропотно терпящих нищету и бесправие. И все же Юру заинтересовали мои выводы о главном виновнике подделки учения Христа, беспощадном враге этого

учения, прикинувшемся ревнителем христианства, — Павле.

Мы сговорились видеться в эти дни как можно чаще. Но Юре это было не так-то просто. Программа экскурсий туристской группы оказалась обязательной. Достаточно было слышать резкий тон девицы, руководящей группой, ее повелительное: «Товарищи!», чтобы понять, как даже люди, достигнувшие известности в стране, приучены подчиняться любым распоряжениям чиновника — представителя Интуриста, партии и тем более «органов».

Ничего не оставалось, как приурочить наши встречи к экскурсиям группы в Лувр, Версаль и т. д.

Выслушав указания громкоголосой Ирины Петровны насчет программы следующего дня, Юрий буркнул: «Ну, это мы еще посмотрим!» — и попросил меня как можно быстрее отвезти его в советское посольство. По пути он ворчал, находя недопустимым, чтобы еле грамотная бабенка распоряжалась людьми известными всему Советскому Союзу. Он решил выяснить этот вопрос в посольстве.

Мне пришлось, сидя в машине, довольно долго его дожидаться. Судя по улыбке, с которой Юрий шел ко мне, было ясно, что он вполне доволен своим визитом.

Атташе по вопросам культуры, выслушав, повел его к послу.

— Но почему, дорогой Юрий Павлович, вы не послали эту девицу... скажем, к чертовой матери? — спросил посол. И долго еще говорил об унаследованных от сталинских времен привычках, внедрившихся в подсознание административных работников. Ну а обыватели в свою очередь приняли за правило безропотно подчиняться любым распоряжениям.

— Для искоренения этого зла потребуется время, пожалуй, не менее жизни целого поколения. Если же даже такие люди, как вы, — продолжал посол, — не находят в себе достаточно мужества, чтобы отстоять свои права и достоинство, то все мы еще долго не выберемся. Сделайте так, как я вам советую, и вы сами удивитесь результату.

Юрий ликовал, пересказывая мне этот разговор.

— Посол сто раз прав! Поверь мне, дома мне бы не потребовались его советы, но здесь, за границей... Если бы ты только знал, через какие формальности и тупые

инструкции, наставления, поучения мы продирались к этой поездке! Уже сидя в самолете, мы не были вполне уверены, что нас отпустили.

В гостиницу мы вернулись как раз к утренней «конференции». В холле появилась с бумагой в руке товарищ Ирина Петровна и объявила, как приказ, программу дня. Едва смолк ее повелительный голос, как Юрий произнес спокойным хрипловатым баском:

— А не пошли бы вы, Ирина Петровна, со всеми вашими заорганизованными мероприятиями... — он сделал паузу и повторил, смягчив слова посла, — куда подальше?

Наступило долгое молчание. Молчали спутники Юры, ошеломленные и в то же время пришедшие в тайный восторг от случившегося. Что будет с Германом после такой дерзости?

Наш ментор долго не могла прийти в себя, сбитая с толку и словами Юрия и, главное, его независимым, уверенным тоном. Понемногу самообладание возвратилось к ней, она улыбнулась через силу и спросила:

— А как вы собираетесь, товарищ Герман, убить время в городе, которого не знаете, если вы намерены отколоться от нашего коллектива?

— Я, конечно, мог бы сказать, что это попросту не ваше дело. Но удовлетворю ваше любопытство: я намерен проводить все время с моим братом — парижанином, с которым я хочу сейчас познакомить своих коллег.

Он отвернулся от растерявшейся Ирины Петровны и стал знакомить меня со своими спутниками, не забывая их достоинств и заслуг. Все были, видимо, взволнованы. Все, кроме Юрия. Едва заметная улыбка говорила о полном его удовлетворении.

И взгляды и особенно крепкие пожатия рук его друзей свидетельствовали о всеобщем восхищении поступком Юрия, хотя сами люди и помалкивали, зная, что всякое прозвучавшее здесь слово будет занесено Ириной Петровной в ее рапорт Интуристу.

Помимо нее, официальной представительниць власти, один из членов группы был секретно облечен особой обязанностью: бдительно наблюдать за своими спутниками. Он был ответствен за них, и если бы комулибо вздумалось «перебежать на Запад», то «искусствоведу в штатском», как называли этих «наблюдателей», не поздоровилось бы.

ПИРУШКА

Я позвал Юру с Таней домой, на ужин. Нельзя ли ему привести с собой друга, кинорежиссера Хейфица с женой, спросил Юра. Шепнув Марии, что было бы неплохо пригласить и кое-кого из наших русских друзей, я уехал с Юрием побродить по острову святого Людовика.

Когда мы вернулись, оказалось, что в наше отсутствие звонила Таня и просила Юру срочно вызвать ее. Я соединил его с номером гостиницы и услышал, как Юра хотя и бурно, но растерянно протестовал:

— Послушай, это же немыслимо... Ты не отдаешь себе отчета... Нет, я не могу... Хочешь, скажи ему сама... — Он передал мне трубку.

Выяснилось, что жена Хейфица неосторожно сболтнула одной из актрис о предстоящем ужине у известного парижского художника. Актриса поделилась новостью с кем-то еще, и через несколько минут весь этаж, занятый кинематографистами, превратился в гудящий улей. Все умоляли Таню позвонить брату Юрия Павловича и попросить его разрешения хоть на полчасика заглянуть к нему в мастерскую.

— Вот так! — со вздохом закончила Таня.

Взгляд Юрия выражал неловкость и даже растерянность, но что-то в нем говорило и о радости, которую доставило бы ему мое согласие.

У русских немыслимо пригласить вечером гостей, не накормив их ужином. Наша же столовая посуда и утварь были рассчитаны самое большее на двенадцать душ. А тут к двадцати пяти работникам кинематографии надо было причислить и наших парижских друзей. Получалось тридцать с лишком. Затруднения с посудой и стульями мы могли бы уладить с помощью соседей. Чертежные доски, к которым я испытываю странную пожизненную привязанность, положенные на козлы, заменят столы; необходимые продукты можно купить в два счета, но что скажет Маруся? Она любит порядок в

доме и терпеть не может, когда ситуация ускользает из-под ее контроля — «gets out of hand», как она говорит.

После мучительных секунд молчания, взвесив все трудности, я с наигранной беспечностью ответил Тане, что мы будем рады ее спутникам и только просим дватри часа на приготовление к приему.

Предстояло сообщить Марусе о неожиданных гостях. К моему удивлению, она не только не рассердилась, но даже, улыбнувшись, сказала, что не имеет ничего против, с условием чтобы я смотрел на нее как на гостью — это позволит ей составить объективное мнение о приеме, не разделяя моей ответственности.

Не в первый раз я замечал у своей жены счастливую, благословенную способность с особой простотой и легкостью в сложных обстоятельствах сдерживаться от раздражительности. Поцеловав эту удивительную женщину, я бросился к телефону звонить другу детства Лёле.

— Лёля, ты обещала Марусе налепить пельменей, но беда в том, что нас будет не десять, а что-то около тридцати пяти. Да, да, именно так! Не можешь ли ты налепить их на всю компанию?

— Что же, постараюсь, запрягу Гакопа. Ничего, если они окажутся не слишком красивыми?

— Пельмени! — услышала нас Маруся. — Ты с ума сошел! Эти люди только что из России, им интересно попробовать что-нибудь французское, а не сибирские пельмени!

Как всегда, она была права, но я все же не отказался от пельменей.

Не расставаясь с Юрой, я помчался на правобережье Сены, к Прюнье. Несмотря на поздний час, я надеялся приобрести там нечто типично французское — лягушачьи лапки.

Юрий с опаской заметил, что в Ленинграде за такое вождение машины «мильтоны» оштрафовали бы меня десять раз. К счастью, парижских «мильтонов» трудно чем-либо удивить — они не задержали меня ни разу

У Прюнье я купил три килограмма лягушачьих ляжек и, не сбавляя скорости, помчался на Монпарнас — там, в одном из переулков, я часто заходил в русскую винно-бакалейную лавку. Надо было накупить водки, побольше закусок и не забыть пару бутылок кальвадо-

са, к которому советские интеллигенты особенно пристрастны по прочтении какого-то популярного романа, где он уж очень заманчиво описан.

При виде всей этой кулинарной роскоши Юра просто торжествовал. Перспектива «шикарного» приема для его странствующих соотечественников приводила его в восторг.

Тут надо напомнить, что в те годы советским туристам, посещающим Париж, кроме обеспеченного пансиона и экскурсий «щедро» выдавали по... пяти франков в день для личных расходов. Парижские магазины изобиловали тысячами самых соблазнительных предметов, туристы мечтали купить хоть какие-нибудь безделушки для подарков домашним и экономили каждый сантим, обходились без курева и ходили всюду пешком. Провозить за границу даже и малую сумму денег строжайше запрещалось.

Дома я вывалил груду покупок на кухонный стол. При виде сотен пар лягушачьих лапок британская сдержанность разом покинула мою Марусю. Я узнал, что я не кто иной, как отвратительный варвар, готовящий шабаш для таких же варваров, и что... На этом она энергично закрыла за собой дверь кухни, не слушая моих оправданий.

Читателю следует знать, что к нашему столу не подавалось ни конское, ни кроличье мясо — из-за особой нежности, с которой жена относилась к этим животным. В принципе табу не распространялось на лягушек, возможно оттого, что о них не могло быть и речи. Так или иначе, лягушачьи лапки переполнили чашу терпения подруги моей жизни, лишив ее, хоть и ненадолго, хорошего настроения, а меня — ее содействия в приготовлении «типично французской еды». Варвар я или нет, а жарить лягушек приходилось лично мне.

В поваренной книге оказалось так много сложных рецептов на этот случай, что, плюнув на все эти тонкости, я решил просто зажарить их, обваляв в муке.

Вскоре появились Аракельяны, неся противни с пельменями. Боясь, что их окажется недостаточно, Лёля принесла запасное тесто и начинку. Увидя у нас знаменитого скульптора Цадкина, она нацепила на него фартук и потащила в кухню, уверяя, что его квалификации хватит на то, чтобы слепить сотню-другую пельменей.

Юра тоже рвался, требовал фартук. Кухонная суета его очень веселила. Ни у кого из писателей не довелось мне прочесть что-либо подобное Юриному описанию в его романе «Наши знакомые» — того, как пожилой повар старого времени рассказывает молодежи, что такое истинное кулинарное искусство, которому он когда-то выучился у французского шефа. Эта глава — несомненный шедевр.

Зазвонил телефон — Таня предупреждала, что они всей группой отправляются в путь. Я объяснил ей, как лучше к нам добираться. По дороге один из энтузиастов Парижа уговорил всех сделать небольшой крюк, взглянуть на знаменитое «Чрево Парижа». Обойдя центральный базар, они совсем сбились с пути. Тане пришлось снова звонить нам для новых инструкций, и только час спустя, хотя и подуставшие, но в великолепном настроении, все они добрались до нашего дома.

Изрядное число опрокинутых рюмок придают моим соотечественникам еще больше сентиментальности, чем изначально наградил их Господь Бог по своей душевной слабости.

У немногих лягушачьи лапки имели шумный успех, остальные же с опаской посматривали на них. Зато Лёлины пельмени вызвали всеобщее одобрение.

Кое-кто пытался, подняв бокал, провозгласить тост, но в шуме и гаме это никак не удавалось.

Среди моих книг Юра увидел сборник стихов Заболоцкого, проведшего годы в сталинских лагерях, и попросил тишины. С глубоким чувством, но без лишнего пафоса он прочел три великолепных стихотворения. Захлопнув книжку, Юрий предложил выпить в память всех, бесконечно многих, лишившихся свободы на нашей земле так же, как и этот великий поэт.

Молча мы осушили бокалы.

Удивительна эта черта у русских — мгновенно переходить от веселья к грусти и наоборот.

Мне не раз случалось упрекать Юру за неосторожные речи. «Это наш единственный способ, — уверял он меня, — освободиться от угнетения, духовного рабства, оздоровить нашу жизнь».

Маруся молча наблюдала разгулявшуюся стихию веселящихся славян — я видел, что компания ей по душе и она искренне разделяла общее настроение.

Потом, смеясь, она рассказала мне, как молодой ки-

норежиссер, говоривший лишь по-русски, только что посмотрев фильм «West Side Story», пытался передать ей свой восторг, повторяя слово: «Колоссаль!»

Сценарист Александр Галич, аккомпанируя себе на пианино, напевал песенки на собственные слова и музыку. Это был тогда еще новый жанр авторской песни. В песнях Галича сатирически высмеивалось многое из того, что творилось у нас. Свободомыслие обошлось ему дорого: он был исключен из Союза писателей и лишен советского гражданства.

Хохот, песни, обрывки звучащих стихов, напевы Галича мешались с неумолчным говором, создавая самую непринужденную атмосферу.

Воспользовавшись всеобщей эйфорией, я заперся на кухне. Рано или поздно в несколько приемов мне предстоит отвезти всю братию в их гостиницу. Знал я и то, что Маруся, у которой кухня непременно должна быть прибрана, едва я уеду, возьмется за мытье посуды. Она считала за правило, что утром, к появлению нашей прислуги, в кухне все должно быть чисто прибрано. Чувствуя себя ответственным за кухонный разгром, я и принялся методично наводить там порядок.

Наша кухня невелика, и после гостей в ней не так-то просто найти место для использованных тарелок и всего прочего. На этот же раз хаос, созданный тремя десятками ленинградцев, не поддавался описанию.

Мысли путались от выпитого. Рассуждая сам с собой на библейские темы, я подумал, что вселенная в миг творения первоначально была, наверно, не менее хаотична, чем наша кухня. Однако Создатель разобрался во всем и постепенно навел-таки порядок. Придерживаясь того же эволюционного метода, я решил начать с грубой «обработки материала» с расчетом на дальнейшее совершенствование.

Размышляя так возвышенно, возвращаясь памятью к давним откровениям моего друга Тейяра де Шардена, я наполнил помойное ведро лягушачьими скелетиками, остатками винегрета, холодными пельменями вперемешку с окурками и всякими иными объедками и принялся, пока вчерне, за мытье посуды.

Тут-то Юра, заметив мое отсутствие, отправился на поиски и нашел меня по локти в мыльной воде.

— Что ты тут делаешь?! — воскликнул он в изумлении. — Неужели у вас нет кого-нибудь для этой работы?

— А разве ты не слыхал такое вот, дорогой Юра, — и я торжественно изрек, воздев мыльный палец: — «Тот среди вас, кто хочет быть первым, да будет всем слугой»? Это Христос сказал.

Мои слова сильно поразили Юру. Он молча подошел, обнял меня и в волнении стал, словно причитая, повторять:

— Так оно и есть! Он прав, твой Христос, так и должно быть. Так оно и есть!

Нет сомнения, в те минуты мы оба находились в крайне приподнятом душевном состоянии, и все же случившееся останется в моей памяти как сблизившее меня с моим братом Юрой больше чем когда-либо.

Вспоминая Сашу Галича, хочется поделиться его рассказом о том, как он стал автором песен:

— Как-то звоню я Юрию из Москвы, жалуюсь на грызущую душу тоску. «Ты вот что, плюнь на все и езжай сразу же ко мне, хоть на пару дней. Только с условием: в поезде ты придумаешь специально для меня веселенькую песенку». Так я и сделал, сочинив «Леночку». Юрию она очень понравилась, а заодно и рассеяла мою хандру. С того дня я и пишу свои песни...

ПАСТЕРОВСКИЙ МУЗЕЙ

Как быстро промчались эти дни! Какими они показались короткими! Так много еще осталось недосказанного, необсужденного, необъясненного! В Париже и окрестностях оставалось еще многое, что я хотел показать Юре. Он надеялся воспользоваться увиденным в нашей старенькой Франции для задуманного труда о Герцене.

Но по его разговорам я чувствовал — ничто так всепоглощающе не владело его мыслями, как жизнь и будущее его народа.

Какие-то парижане, познакомившиеся с ним в Ленинграде, приглашали его и Таню на вечер в знаменитое Казино де Пари, с неизбежным парадом полуголых девиц.

— Знаешь, Костя, вряд ли задницы французских красавиц уж настолько привлекательнее наших! Времени в обрез, свези меня лучше в Пастеровский музей.

Я с радостью согласился, умолчав, что и не подозревал о существовании в Париже такого музея.

Юрий, прочитавший немало книг о французском ученом и его русском помощнике докторе Мечникове, собирал материал о поездке Пастера в Россию, где он во время эпидемии впервые применил свою сыворотку против бешенства.

Мы приехали в Пастеровский институт к четырем часам и разыскали созданный при нем музей. Директриса с польской фамилией, лично сопровождавшая редких посетителей, объяснила, что на осмотр требуется не менее двух часов, а музей закрывается в пять, поэтому она просила нас приехать на следующий день.

— Мой кузен, — возразил я, — советский писатель, интересуется участием доктора Мечникова в поисках Пастера, а завтра он, к сожалению, должен лететь в Россию.

— Тогда разговор совсем другой, расписание не играет роли.

Водя нас по залам, она рассказывала, в каких невероятно убогих условиях Пастер делал свои открытия, перевернувшие большинство основ медицины. Академия не признавала его теории и не оказывала никакой материальной поддержки — Пастеру приходилось собственноручно конструировать необходимые приспособления и аппараты. Их-то нам и демонстрировала во всех деталях хранительница музея.

Я старался, не пропуская ничего, переводить на русский пояснения мадам Вратовской. Юрий часто прерывал ее, сообщая эпизоды, связанные то с жизнью Мечникова, то с поездкой Пастера по России. Щеки нашего гида разгорелись, глаза блестели — все говорило о том, как истинно дорога ей память об этих великих ученых и как она рада встрече с человеком, столь заинтересованным в их судьбах, так много о них знающим.

Взволнованная, она спросила Юру, откуда у него столько интереснейшей информации, и стала с его слов записывать названия трудов и имена авторов.

Не так-то легко было переводить то одного, то другого. Временами приходилось их сдерживать, — увлекаясь, они говорили одновременно, каждый на своем языке. Мы покинули музей в восемь часов вечера.

— Откуда, Юрочка, ты так много знаешь о Пастере?

— Представь себе, мы, писатели, иногда от лени прочитываем то одно, то другое.

Ω

Невесел был отъезд тружеников кино. Вновь сгрудившись в холле гостиницы, они внимательно слушали инструкции Ирины Петровны; возвращение туда, где распоряжения не обсуждаются, было неотвратимо.

Я предложил Юре и Тане отвезти их в аэропорт, но Таня шепнула, что об этом не может быть и речи: они больше не могут отделяться от группы, Юрий и так все эти дни вел себя вызывающе, недопустимо, с тревогой говорила Таня, словно опасаясь, что он и тут что-нибудь выкинет.

Юрий казался крайне уставшим. Уже несколько дней он жаловался на боль в горле. Лекарства, которые я ему покупал, не помогали.

Я следовал в машине за автобусом, как за катафалком.

В аэропорту Бурже Ирина Петровна пересчитала уезжавших и вновь назойливо «попросила» товарищей ни в коем случае не расходиться...

В записках о своих зарубежных поездках превосходный писатель Константин Паустовский пишет, как советский турист, гуляя по Парижу, устал, присел на скамейку бульвара и заснул. Проснувшись, он подумал: вот бы хорошо затеряться так в этом городе навсегда!

Однажды в шестьдесят втором году я писал один из живописных уголков Авиньона, когда через площадь до меня донеслось: «Костя!» Я обернулся — стоявший за мной пожилой мужчина отозвался по-русски.

— Как удивительно — вы русский?! — спросил я.

Улыбнувшись, он протянул руку и назвался:

— Константин Паустовский. Я бы с радостью посмотрел, как вы работаете, да вот видите — автобус, группа, их нельзя задерживать.

Так я познакомился с самым, как мне кажется, выдающимся поэтом среди русских прозаиков. В этом жанре разве Тургенев способен с ним сравниться.

Год спустя я спросил приехавшего к нам Юрия, какого он мнения о Паустовском.

— По-моему, он — преступник, — заявил Юра. — Писать о росе ранним утром, когда идешь на рыбалку и вдыхаешь аромат скошенной травы, — это, конечно, красиво; но писатель, обладающий таким огромным талантом, как он, обязан протянуть руку помощи гибнущему человеку. Надо драться, защищая угнетенных.

Что ж, Юрий не терял драгоценного времени. Все его творчество говорит о сострадании и о помощи падшим. Однако я не разделил его осуждение прозы Паустовского.

Однажды на прогулке по Парижу Юра вспомнил, что какой-то его ленинградский приятель просил узнать, нет ли у нас нержавеющих крючков для рыбной ловли. Я повел его в специальный магазин на набережной Сены, где продаются все существующие снасти для рыболовов. Продавец был озадачен моим вопросом.

— Но, месье, во всей Франции вы не найдете ни одного ржавеющего крючка.

— Видимо, в нашей технике остается еще немало пробелов! — заключил Юра.

РАК

Уехав из Франции, Юра, к моему удивлению, перестал мне писать. Миновало долгих два месяца, пока наконец пришло от него письмо. Всего несколько строк. Он сообщал, что боль в горле, на которую он жаловался в Париже, вызвана раковой опухолью. Его лечили лучами кобальта, и доктора обещали продлить его жизнь года на три. Ему необходимо, писал он, закончить начатое, и он вынужден работать вдвое больше прежнего. Ни одного жалобного слова. Сообщение — и все.

Я почувствовал нечто вроде удушья. На меня обрушилась глыба. Такого не могло быть! Юрий, вулкан жизни, энергии и отваги, вдруг превратился в безнадежно больного, приговоренного дожидаться конца! Мысль эта была невыносима.

Спустя четверть часа я говорил по телефону с Алексеем, Юриным сыном. По его словам, Юра получал максимальную дозу лучей кобальта. Доктора, сказал Алеша, не уверены, смогут ли они воспрепятствовать распространению болезни. «У нас, — едва слышно сказал Алеша, — большое горе...».

Я ошибался, думая, что все кончено. Не прошло и месяца, как я получил от Юры письмо совсем иного тона. Даже угроза неминуемой смерти не смогла пригнуть, погасить силу духа этого исключительного человека. Он писал:

«Сама болезнь — пустяки по сравнению с облучением. Ты же знаешь, какой я любитель хорошо пожрать, так теперь я утратил начисто ощущение вкуса. Что икра, что опилки — разницы не составляет. Доктора настаивают на усиленном питании, а мой желудок не принимает никакой пищи... Если бы ты знал, какой я сделался паинька! Кончены рестораны и нашествия друзей. Все только и заботятся о моем спокойствии. Я им пользуюсь, чтобы работать как никогда прежде... Последний том моей трилогии, начатый давно, движется на всех парусах, и благодаря моим болезням я могу

включать в него то, что испытываю на собственном опыте. Даже нудные часы, которые я должен проводить в больнице на процедурах, приносят интереснейший материал для моей работы. Моя пишущая машинка начинает стучать, как только доктора оставляют меня в покое. Мой роман печатается в журнале «Звезда» по мере того, как я пишу главу за главой. И это, поверь, дает мне огромное преимущество».

Значительно позже я понял, в чем состояло это преимущество. Не будь роман предварительно, по главам, опубликован в журнале, вряд ли мог он выйти отдельной книгой в те годы.

Несмотря на ужасную болезнь и страдания, Юрий жил интенсивной жизнью благодаря своему труду.

Завершающий роман трилогии, «Я отвечаю за все», безусловно, наиболее глубокий в его творчестве.

Два предыдущих тома — «Дело, которому ты служишь» и «Дорогой мой человек» — были переведены на иностранные языки и использованы кинематографом. К сожалению, переводчики на французский язык сочли нужным перевести слово «дело» французским «cause» («La cause que tu sers»). Но «cause» означает, скорее, некий идеал или даже фанатическое устремление. Так, во время французской революции о тех, кто ей сопротивлялся, говорилось, что они были готовы пролить свою кровь во имя «cause royaliste» («во имя монархии»). Юрий же пишет о преданности советских медиков своей профессии — медицине, делу своей жизни.

«Дорогой мой человек» в переводе оказался вообще без заглавия. Что же касается третьего тома, «Я отвечаю за все», то авторское название было заменено другим — «Возвращение доктора Устименко». Французский читатель непременно вспомнит «Возвращение Шерлока Холмса» или же «Возвращение Арсена Люпена».

Основная заслуга Юрия в том, как в этой книге он обличает преступное отношение властей к сотням тысяч ни в чем не повинных жителей западной России, сосланных на десять лет в сибирские лагеря лишь потому, что, оказавшись под немецкой оккупацией, они «могли быть завербованы» Западом для шпионажа. В книге описаны две трагические судьбы: достойные граждане были доведены до самоубийства сперва намеками, травлей, а затем и публичными газетными обвинениями в антисоветской деятельности. Несчастные так опасались,

что их предадут суду и объявят «врагами народа», что предпочли заблаговременно покончить с собой. Ведь семья «врага» тотчас же лишалась гражданских прав и любой пытавшийся ей помочь рисковал разделить ее участь. Все это изображено в Юрином романе «Я отвечаю за все».

Надо думать, что в те строгие времена публикация подобных разоблачений стала возможной благодаря тому, как высоко ценились предыдущие книги Германа, но также и благодаря отваге редакции «Звезды», рискнувшей печатать главы из романа. Юрий обладал редкой способностью вызывать к себе у тех, с кем он встречался, исключительную привязанность, чтобы не сказать — любовь. Теперь, заболев, он в высокой степени возбуждал эти чувства.

Хотя он и критиковал не колеблясь многие шаги правительства, действия судов, никому не нужных отделов кадров, проза Юрия отличалась жизнеутверждением и, я бы сказал, жизнерадостностью. Резко противопоставляя полезную деятельность и самозабвенный труд одних приспособленчеству и подлости других, Юрий, однако, не впадал в унылый, непроглядный пессимизм, столь распространенный среди иных его пишущих коллег.

Даже если многое в его творчестве и звучит наивно, нельзя не подчеркнуть: он постоянно взывал к добрым чувствам. В отчаянных условиях тех лет его оптимистический взгляд на жизнь поддерживал читателей, питая их надежды на лучшее будущее.

Л. Левин вспоминает Юрия «полным обаяния, веселым, неистощимым на забавные выдумки, увлекающимся, талантливым во всем»...

Герои его романов резко делятся на очень хороших и на явно отрицательных, не оставляя места типам посредственным. Мне кажется, что такая поляризация была вызвана самой революцией. Породив в сердцах миллионов людей веру во всеобщее братство, она возбудила в них самые возвышенные душевные качества. В то же время те, кто противились духовному подъему, попыткам устроить общую, коллективную жизнь, жизнь «не для себя, а ради всех», из заурядных эгоистов и обывателей превратились в палачей и предателей. Наблюдая это явление, Юрий хоть и утрировал своих героев, но в целом изображал жизнь в России такой, какой она была.

Писатель Меттер в своих воспоминаниях пишет о Юре: «Я бывал не раз свидетелем, как его друзья, да и сам я критиковал его за излишнюю сладость написанного им, бьющую через край влюбленность в своих безупречных героев. Он слушал, вдавливая недокуренные сигареты в пепельницу, и снова закуривал. Затем мог и взорваться: «Да пойдите вы все к черту! Читателя надо учить добру и умению бороться за него!» Потом иногда и винился: «Может, я немножко перебрал. Я всегда перебираю. Потом почищу»...

В печальные дни его кончины можно было прочесть в «Известиях»: «Он никогда не переставал быть борцом. Я знаю десятки людей, которым он помог в беде, — то были доктора, авиаторы, студенты, писатели»...

На мой взгляд, наиболее характерной чертой Юрия была доброта. Он был до того добр, что в его описаниях даже самые мерзкие типы выглядят больше комичными, чем отвратительными. Он словно не находил в себе сил возненавидеть их всей душой.

Друг Юрия Даниил Данин писал в некрологе о том, что мы лишь с годами оценим труд Юрия Германа. Для многих он был талантливым прозаиком, описывавшим наш быт, — не более. На самом же деле прежде всего он был ПРОПОВЕДНИКОМ. Все его творчество не что иное, как притча о человеке, жадно ищущем справедливость — социальную, как и всякую иную. Он принадлежал к тем настоящим людям, которые пекутся не только о благе человечества, но и о судьбе каждого из нас, испытывают потребность спасать людей от постигшей их беды. Вот почему его переход от жизни к смерти, столь несправедливый и безвременный, является для нас потерей значительно большей, чем мы можем осознать в данное время.

Ω

Спустя год после его заболевания я получил телеграмму: «Прилетаем Бурже Юрий Таня».

Я едва узнал его среди пассажиров, спускавшихся из самолета, — настолько он исхудал, побледнел и, казалось, с усилием держался на ногах.

Что же побудило его вторично прилететь в Париж?

Приезд во Францию не был связан с командировкой или какими-либо литературными делами. Льщу себя

мыслью, что ему захотелось еще раз повидаться со мной, настолько мы стали близки друг другу.

Издали я увидал его, улыбающегося столь знакомой мне беспечной улыбкой, выражавшей всю радость нашей встречи.

— Как думаешь, понравлюсь ли я парижанкам? Ты посмотри — от облучения мои седые бакенбарды почернели. Теперь все! Моя книга печатается, и мне почти ничего не пришлось менять. Не без драки, конечно! Но ты не можешь вообразить, каким я стал скандалистом. Поверь мне, нет ничего полезнее хорошего скандала.

Так, весело болтая в холле аэропорта, он совал мне в карман великолепные золотые часы.

В наступившие дни что-то удушливое, тяжкое давило на мою психику. Я не мог никак соответствовать радостному тону моего мужественного брата Юры. Первый его приезд в Париж оставил в моей памяти множество ярких, волнующих воспоминаний, эти же дни затянулись какой-то черной пеленой забвения...

У меня хранились два начатых год назад Юриных портрета. Но за эти месяцы он так ужасно изменился, что мои попытки закончить их остались безуспешными. Лишь после его отъезда, пользуясь этими набросками, а также и фотографиями, я смог наконец создать весьма удачный, как мне кажется, портрет Юры.

В шестьдесят седьмом году его воспроизвели в издании Юриной трилогии, позже — в книге «О Юрии Германе и его друзьях» Льва Левина и неоднократно — в газетных статьях.

Впоследствии у нас довольно часто появлялись приезжавшие из России Юрины друзья. Был среди них и директор «Ленфильма» Киселев. Рассказывая о Юре, он поражался беспечности его поступков. Так, однажды, объявив сотрудникам киностудии, что он выступит с важным сообщением, Юрий стал упрекать администрацию «Ленфильма» в невероятной разнице в оплате труда, — для примера его собственного как члена художественного совета, посещающего студию лишь на обсуждениях, и уборщицы, работающей за гроши с утра до ночи. «Это вы называете коммунизмом?» — кричал Юрий Павлович. Киселев поражался, как это Юрию сходили такие дерзкие выходки.

Как-то мне позвонила Нина Николаевна Черкасова, вдова знаменитого актера. Прилетела она в Париж на премьеру фильма, посвященного ее мужу.

По ее признанию, в течение многих лет она была связана дружбой с Ю. П. Германом. В ее жизни главную роль сыграли Юрий Герман и Николай Черкасов. «В этом порядке», — прибавила она.

Она рассказала несколько характерных для Юрия эпизодов.

Однажды он позвонил, спросил, может ли зайти к ней.

— Еще бы! Или вы забыли: сегодня мой день рождения?

— Что же мне вам привезти?

— Ничего мне не надо... Ну привезите несколько фиалок и приезжайте поскорее, все вас ждут.

Спустя часа два Юрий появился у Черкасовых, неся огромный пакет. Его вскрыли, и на ковер посыпались сотни букетиков фиалок. Юрий гордо заявил, что в Ленинграде больше не осталось ни одной фиалки: он объехал все цветочные магазины и скупил весь их запас.

С Юрой я виделся еще раз, в апреле шестьдесят шестого года в Ленинграде. Мы оба знали, что это наше последнее свидание, и я почти все дни провел безвыходно у его постели. Болезнь усилилась, он уже не вставал.

Не берусь описывать ни эти дни, ни наше расставание.

До последнего Юрий не переставал работать. Не в силах более сидеть за пишущей машинкой, он продолжал работать лежа. Когда же и на это не хватило сил, он пригласил стенографистку и диктовал ей то, что называл своими «сочинениями».

Чувство юмора не покидало Юру даже в самые последние его дни. После похорон на его ночном столике среди лекарств был обнаружен клочок бумаги со словами: «Как бы умереть не кокетничая».

А на письменном столе — другая фраза, написанная уже не его рукой, а продиктованная: «В отсутствие внутренней жизни переход от жизни к смерти вообще не имеет никакого значения».

Меттер видит в этих словах сознание умирающего, что его покидают «духовные силы» и, следовательно, он

дольше не может продолжать свой труд. Мне же эта фраза представляется в более широком смысле: резко разделяя одаренных «внутренней жизнью» и тех, кто ее лишен, он не придает смерти последних большого значения. Имей он в виду лишь слабеющие умственные способности, он бы не назвал их внутренней жизнью.

16 января 1967 года из Ленинграда пришла телеграмма: «Юрий скончался Таня».

Не гожусь я в судьи литературного дара Юрия Германа. Мне невозможно быть беспристрастным. Слишком он близок мне душевно. Скажу лишь, что никогда не попадались мне книги, возбуждавшие во мне такой духовный подъем и такие эмоции, как его романы. И все это из-за особенной его доброты, которой так и светятся страницы его книг.

Несмотря на свою поразительную доброту, Юрий в редких случаях был способен на черную ненависть. Всеми силами души он ненавидел Сталина.

Сартр и его подруга Симона де Бовуар бывали приняты у Германов в каждое посещение Ленинграда. В романе «Сила вещей» Симона де Бовуар пишет о Германе, что он в своих книгах никогда не упоминал имени Сталина при жизни диктатора, в то время как большинство писателей тех лет восхваляли «вождя народов», «корифея наук».

Другим предметом негодования Юрия были проявления антисемитизма в нашей стране.

После всех небывалых зверств, совершенных фашистами над евреями, Юрий считал преступным, когда его соотечественники, уподобляясь немецким извергам, проявляли ту же тупую ненависть, основанную, вероятнее всего, на зависти.

В сорок девятом году он написал роман «Подполковник медицинской службы». Главный герой книги, хирург, в годы войны возглавляет полевой госпиталь в Заполярье. Любимый и чтимый всеми, он знает, что болен раком желудка, но оттягивает операцию до последнего, чтобы не лишить поступавших к нему раненых своей хирургической помощи. Этот исключительной души человек — еврей.

Первая часть романа была опубликована журналом «Звезда» за несколько недель до нашумевшего процесса

врачей-евреев, обвиненных в покушении на жизнь Сталина. Дело врачей вызвало особую вспышку антисемитизма. Юрий подвергся угрозам со стороны партийного начальства и его холуев. Его вынудили письменно отказаться от продолжения публикации романа. И ему пришлось прятаться у своих многочисленных друзей, постоянно ожидая ареста. Друзья у него были даже среди милиционеров, предупреждавших его, когда к ним поступало распоряжение его «брать».

«Так длилось месяцами, — рассказывал Юра, — потом понемногу меня забыли, потом подох Сталин, и, хоть вспышки антисемитизма периодически возвращались, давление властей на писателей, непослушных требованию правительства, временами ослабевало, становясь менее угрожающим».

Лишь в 1954 году Юрию все же удалось опубликовать своего «Подполковника».

В семидесятом году, как пишет Лидия Чуковская в своем «Процессе исключения», ее воспоминания о С. Я. Маршаке были приняты издательством. Когда текст уже ушел в набор, ей позвонили, прося от имени руководства убрать два абзаца.

«Какие?» — спросила она.

Первый абзац начинался так:

«В годы 1937—1939, когда одни из товарищей Самуила Яковлевича были арестованы и исчезли — кто надолго, а кто и навсегда, он... пытался — случалось, и с успехом — вступаться за несправедливо гонимых».

Второй абзац кончался так:

«Миновали годы. Со смертью Сталина начались возвращения и воскрешения. В «Литературной газете» в 1955 году Юрий Герман первый помянул добрым словом «ленинградскую редакцию», руководимую в тридцатые годы С. Я. Маршаком».

«Будто отворили замурованную дверь», — говорил Чуковской, прочитав эту статью, Самуил Яковлевич. И она вспоминает ахматовский стих:

«Что там? — окровавленные плиты
Или замурованная дверь...»

Итак, Юрий Герман первый дерзнул еще в пятьдесят пятом году протянуть руку отверженным.

Убрать абзацы Чуковская не согласилась, и ее воспоминания так и не были тогда изданы.

Далее Чуковская описывает, как в шестьдесят шестом году она также отказалась подчиниться требованию издательства удалить из ее вступительной статьи упоминание об аресте и о насильственной смерти И. И. Мальчика. Издательство считало, что «нет надобности омрачать память молодежи тяжелым прошлым».

Чуковская не пожелала скрыть трагическую кончину старого друга, и ее статья была отвергнута.

Вот фраза, на которой настаивала Чуковская:

«В феврале 1938 года И. И. Мальчика арестовали. Да и редакционный коллектив, созданный С. Я. Маршаком, был к тому времени уже разгромлен: кого арестовали, кого уволили».

Ω

Мне довелось наглядно убедиться в огромной популярности Юрия Германа, когда, купив необходимое ему лекарство, я отправился в аэропорт Бурже, надеясь передать его через кого-нибудь из вылетавших в Россию.

Перед службами «Аэрофлота» стояла очередь. Я осторожно обратился к одному из пассажиров, объяснив свою нужду. Меня услышали стоявшие вблизи люди, и все стали настойчиво предлагать свою помощь, уверяя, что пакет будет доставлен Герману в Ленинград в тот же день. Одна женщина истово упрашивала меня — она была готова сама тотчас же отвезти лекарство Юрию Павловичу из Москвы в Ленинград.

В дни последнего, прощального посещения Юрия в Ленинграде я как-то задал ему риторический вопрос:

— Вообрази, Юра, что ты мог бы повторить свою жизнь с самого детства. Хотел бы ты прожить ее в России или, как я, за границей?

Он стал смеяться, и его сын Алеша тоже смеялся над наивностью моего вопроса.

— Да нет! Ты и представить себе не можешь, как этот народишко мне подходит! Жить вдали от него, быть ампутированным?.. Нет, это немыслимо. Находиться вдали от кузницы, в которой перековывается вся жизнь страны? Нет, брат, такой вариант мне не подходит. Здесь я знаю, что я полезен... За рубежом... под другим небом?..

Где ныне этот дух, беззаветно боровшийся за правое дело, постоянно встававший на защиту попавших в беду? Можно строить по этому поводу всякие предположения. Мне же хочется думать, что этот непокорный дух продолжает вооружать перо тех, кто идет не щадя себя его же дорогой. Их много, очень много. Не всем им дано достичь известности Ахматовой, Солженицына, Сахарова или Чуковской.

Солженицын, как и Пастернак, получив Нобелевскую премию, отказался от поездки в Стокгольм, опасаясь, что его не пустят обратно в Россию. Видимо, он тоже не хотел быть «ампутирован», предпочтя переносить преследования, слежку, постоянные опасности, но оставаться со своим народом.

Герои его «Круга первого» не соглашаются на предложенное властями сотрудничество, предпочитая идти на муки, ссылку и на верную гибель.

«Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был».

Анна Ахматова, 1961

Многие наши выдающиеся писатели предпочли покинуть свою землю в надежде принести на свободе большую пользу. Правы ли они? Не нам судить.

В семьдесят четвертом году Лидия Чуковская, автор повестей «Софья Петровна», «Спуск под воду», «Процесс исключения» и многих других публикаций, приютив у себя Солженицына в дни его травли, была исключена из Союза писателей якобы только за ее статью об исключении Пастернака.

Вскоре «самиздат» опубликовал ее памфлет «Мое слово», в нем Лидия Чуковская описала обстоятельства своего исключения.

«Обвинение, — пишет она, — было основано на моей статье «Гнев народа», которую я посвятила Пастернаку и его исключению в пятьдесят восьмом году. Речи обвинителей длились около двух часов, затем, перед голосованием, мне было предоставлено слово. Я заключила мое обращение так: «Позвольте мне сделать предсказание: в столице нашей страны Москве будет площадь имени Александра Солженицына и бульвар академика А. Д. Сахарова».

Мое исключение было принято единогласно»...

Выбрав тернистый путь, мои отважные соотечественники, жертвуя благополучием, следуют по стопам того, кто двадцать веков тому назад сказал именно о них: «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать вас, и всячески неправедно злословить... Вы СОЛЬ ЗЕМЛИ!.. Вы свет мира!.. Так да светит свет ваш перед людьми!»

Для этих людей будущего (которых евангелист называл «избранными сыновьями Божьими») настоящее должно составлять лишь малую часть дарованного природой роду человеческому. Род этот растет и, прогрессируя, зреет морально, стремясь к стадии, названной Тейяром де Шарденом «точкой Омега». Достигнув ее, объединенные во всеобщее братство, мы постепенно сольемся с творческими силами вселенной, переставая быть лишь творениями...

«Да будет все едино!»

Ω

Прежде чем окончить это повествование, хочется привести заключительную страницу книги Льва Левина «О Юрии Германе и его друзьях».

В пору, когда Левина обвинили во многих смертных грехах, облепили грубыми ярлыками, несправедливыми и угрожающими, и над ним навис меч возможных репрессий, Юрий, твердо веря в невиновность товарища, поселил его у себя. В те годы такой поступок требовал особой гражданской смелости.

«Когда меня исключили из Союза писателей, — пишет Левин, — Герман, несмотря на косые взгляды осторожных друзей, окружил меня поистине братской заботой. Тогда я, пожалуй, впервые ощутил с такой остротой разницу между поверхностным приятельством и настоящей дружбой. Увидел, как отступает перед бедой приятельство и на что, оказывается, способна дружба.

Мало того, что Герман поил меня и кормил, он еще втолковывал мне, что все мои неприятности не так уж страшны и, во всяком случае, проходящи. Он даже посмеивался надо мной — ему никогда не изменяла способность видеть смешное в печальном, а порой и в трагическом. Она, эта способность, не изменила ему и в те страшные дни, когда он понял, что смертельно болен.

Даже и тогда он не переставал подшучивать над собой и над своей неизлечимой болезнью.

Прежде чем забрать меня к себе, Герман позвонил по телефону. Это было на следующее утро после того, как меня исключили из Союза писателей.

— Как ты там? — спросил Герман беззаботным и необычайно бодрым голосом. — Неужели еще валяешься?

Не дожидаясь ответа, он заявил, что ровно в час его машина будет ждать меня у подъезда и что мы поедем к нему на дачу, где я буду жить столько, сколько мне заблагорассудится.

С тех пор прошло очень много лет. В жизни каждого из нас было за эти годы много разного — веселого и грустного, светлого и мрачного, прекрасного и тяжелого. Много, очень много было в жизни Юрия Павловича Германа. Но, как бы ни складывалась его собственная судьба, он всегда был готов прийти на помощь человеку, с которым случалась беда.

Сколько людей, подобно мне, могут рассказать, что на следующее утро после беды у них звонил телефон и беззаботный, необычайно бодрый голос Юрия Павловича Германа спрашивал:

— Как ты там? Неужели еще валяешься?»

ЭПИЛОГ

Свое повествование я решил прервать на 16 января 1967 года, когда скончался Юрий Павлович Герман.

С того дня у меня появилась настойчивая потребность ежедневно излагать свои мысли на бумаге. Прошло много лет, но это увлечение сделалось моим постоянным необходимым занятием. Что ни утро, я встаю до зари писать письма, разрабатывать свои старые записи и сочинять рассказы, воскрешая образы людей — участников моего ушедшего прошлого.

Что же это такое?

Как могло случиться, чтобы в моей жизни возникло это новое стремление? Невольно зародилась мысль, принявшая с годами устойчивость уверенности: мое увлечение было духовным наследством, переданным мне от моего любимого брата — писателя Юрия Германа.

Как объяснить такое явление? Видимо, особенности характера уходящей с жизненной сцены сильной духовной личности способны перейти к тому либо к тем, к кому он был особенно сердечно расположен. Его «я» переселяется к его «наследникам», изменяя их мышление, а то и деятельность.

«Потусторонние силы» вмешались не только в мою творческую жизнь, но и в доселе совершенно безоблачную супружескую. Вскоре после кончины Юрия умер Корнелиус Старр, бывший муж Марии. С этого момента ее отношение ко мне резко изменилось. При всяком случае она старалась уязвить и унизить меня в глазах окружающих. В то же время Мария стала наотрез отказываться от чтения книг Юрия, которые прежде ценила очень высоко.

Казалось, что «сожительство под одним кровом» таких двух духовно противоположных сил, как Юрий Герман и Старр, стало несовместимым.

Перемена отношения Марии не только ко мне, но и ко всему тому, что прежде было для нее наиболее ценным, вызвало в ней протест против самой себя и са-

мого своего существования. Кончилось дело тем, что она попыталась отравиться. К счастью, с большим и длительным трудом удалось ее спасти.

После этого мы продолжали отдаляться друг от друга и в 1974 году окончательно разошлись.

Старр годами прилагал все усилия к тому, чтобы разъединить меня с Марией, — и ему это удалось, но лишь после его смерти.

Открытие о таком духовном руководстве нашей судьбой поразило меня и привлекло мое пристальное внимание. Надо заметить, что об этом удивительном явлении немало сказано евангелистами.

Многие, с кем я беседовал на эту тему, соглашались со мной, замечая изменения в их собственной жизни после кончины близкого им человека.

Если моим читателям доведется испытать что-либо подобное, я очень просил бы их поделиться со мной своими наблюдениями.

Что же касается моей живописи, то, какие бы ни появлялись увлечения на моем пути, я ни разу за прошедшие полвека ей не изменял. Работа красками уводит меня в иной мир — в мир подсознательного творчества.

Вот перечень главных событий в моей жизни последних лет.

В 1964 году Мария и я приняли французское подданство.

В 1965 году, купив гектар земли в деревне в 45 километрах от Парижа, вблизи старинного города Санлис, я по собственному плану построил дом с большой мастерской.

В 1977 году я женился на француженке Сюзанне пятидесяти девяти лет. У нее четверо взрослых детей и одиннадцать внуков.

В 1980 году мы купили маленькую дачу на Корсике, в ста метрах от морского пляжа. Корсика, заслуженно именуемая Островом Красоты, послужила мне сюжетом многочисленных этюдов. Нам много раз довелось ездить в США на открытия моих выставок. Однако путешествия перестали меня привлекать. Видимо, я окончательно пустил корни в этой земле, столь пропитанной памятью о прошедших веках.

В 1990 году президент Французской Республики пожаловал мне звание кавалера ордена Почетного легиона.

Клуге К.
К51 Соль земли. — М.: Искусство, 1992. — 207 с., портр., [40] л. ил.

ISBN 5-210-02155-6

Автор книги — известный французский художник, родившийся в России и покинувший ее ребенком с первой волной русской эмиграции. В своих воспоминаниях он рассказывает о жизни в Китае в 20-х годах, об учебе в Париже в Академии художеств, о встречах с яркими, интересными людьми, среди которых особенно выделяется фигура философа и ученого Тейяра де Шардена. История формирования нравственных и эстетических взглядов художника неразрывно связана с историческими судьбами России и Франции, ставшей для него второй родиной.

К $\frac{4903010000-092}{025(01)-92}$ 148-92 ББК 85.103(3)

Клуге
Константин Константинович

СОЛЬ ЗЕМЛИ

Редактор
Е. С. САБАШНИКОВА

Художник
Е. Е. СМИРНОВ

Художественный редактор
Т. М. ЗВЕРЕВА

Технический редактор
А. Н. ХАНИНА

Корректор
И. Н. БЕЛОЗЕРЦЕВА

ИБ № 4611
Сдано в набор 30.07.91. Подписано в печать 21.01.92.
Формат 84×108/32. Высокая печать.
Бумага типограф. № 1. Гарнитура таймс.
Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 29,9. Уч.-изд. л. 14,12.
Изд. № 6472. Тираж 20 000 экз. Заказ 394.
Издательство «Искусство», 103009, Москва,
Собиновский пер., 3.
Ярославский полиграфкомбинат
Министерства печати и информации
Российской Федерации.
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Подчиняя технику поэзии, он примиряет нас с нашей цивилизацией.

"Дистрикт де Пари"

Специальность архитектора позволяет ему внести в свое искусство добавочное измерение, никак не вредя его таланту художника.

"Ревю модерн"